

Павел  
СИРКЕС

Горечь  
померанца



**Павел  
СИРКЕС**

---

**Горечь  
померанца**

**Документальная  
повесть**



1989

**ББК 84Р7-4**  
**С 40**

**Сиркес Павел**

**С 40 Горечь померанца: Документальная повесть —  
С. П. «Вся Москва», 1989. — С.**

Автор этой книги — сценарист документального кино. Документальна во многом и «Горечь померанца». Среди персонажей — генералы А. И. Родимцев и А. С. Жадов, рядовые участники Отечественной войны, интеллигенты, крестьяне, люди многих национальностей.

Действие происходит в Молдавии, Казахстане, Москве, коренной России.

Общественные надежды, связанные с XX съездом партии, первые шаги в журналистике и неизбежная расплата за стремление к независимости, начало работы в кино и новые объективные трудности на этом поприще — вот сюжетная канва повести.

Главный персонаж, от лица которого ведется повествование, перенес все, что выпало на долю его поколения: гибель отца на фронте, труд с ранних лет, чтобы поддержать мать и младших сестер, преодоление отчуждения, прорыв к общечеловеческому через то живучее зло, которое, по словам Бабея, «так скучно зовут антисемитизмом».

**ISBN 5-239-01001-3**

**ББК 84Р7-4**

© Павел Сиркес, 1989

---

Когда родилась Саша, ты спросила:

— Как запишем дочь?..

— Выйдет замуж, сама выберет,— помнишь, сказал я,— а пока пусть будет, как принято...

Ты ведь до сих пор носишь фамилию отца. Почему же усомнилась, может ли дочка, хоть до брака, оставаться на моей? Поверь, за пятьдесят с лишним лет мне ни разу не пришлось устыдиться, что принадлежу к клану Сирке. Скорее всего, мы люди простые. Затерянная в глубокой древности наша родословная никому не известна. Но в Молдавии меня не раз спрашивали:

— Вы из каких Сиркисов? Доктор Сиркис не ваш родственник?

Однажды в кино случайно оказался рядом с доктором.

— Простите, мы с вами не в родстве? — спросил у соседа.— Я ведь тоже Сиркис...

— Вашего деда звали Мойше? А прадеда?

Тут мы и выяснили, что отец доктора и мой дед были двоюродные братья.

После сеанса вышли вместе. Доктор рассказал семейное предание.

Еще при турках, то есть задолго до 1812 года, когда Михаил Илларионович Кутузов Бухарестским миром хитроумно привел Бессарабию под власть русских царей, жила в Бендерах многодетная вдова, почтенная Сирке. Раньше у евреев, как и у мусульман, не приняты были фамилии. К имени человека присоединялось имя его отца, нанизывалась цепочка: Пинкус-бен-Шломо,

Шломо-бен-Моше. И каждый должен был знать семь поколений. Так можно доискаться корней.

Супруг почтенной Сирке давно умер. Когда у ее отпрысков спросили, вы чьи, те ответили:

— Сиркес киндер (Сиркины дети).

Российский канцелярист решил, что первое слово — это и есть их фамилия. Так и записал. Впрочем, здесь не было единообразия. К концу прошлого века каждый из братьев деда прозывался на свой лад: один был Сирке, другой — Сиркес, третий совсем по-русски — Сиркин. У деда в паспорте значилось: Сиркис. Папа, естественно, тоже был таковым. Зато меня при выдаче метрики считали почему-то сыном папиного кузена Сирке.

До школы я обходился без фамилии, но пришла пора идти в первый класс, и тут отец настоял, чтобы меня числили Сиркисом.

Настало время получать паспорт. Как быть? Я вполне сознавал ответственность, которая ложится на единственного продолжателя рода. А мой тридцатилетний отец из-под деревни Кропоткино, из неведомой тогда Орловщины, взывал об обычном человеческом бессмертии, доступном каждому в детях.

Сначала я хотел уничтожить старую метрику и завести новую, правильную. Воспротивилась мама. У нее было боязливое уважение к любому документу. Мы помирились на компромиссе. Почерк у меня был переимчивый, и я попросту пририсовал в конце еще одно «с»: Сиркес — так более похоже.

И зашагал по жизни Сиркесом с ударением то на первом, то на втором слог. И, кажется, не очень замарал эту самодельную фамилию, хотя всяко приходилось с ней...

В армии, когда мы побатарейно направлялись на учения или в столовую, старшина Драгонюк командовал:

— Ваня Сиркин, заспивай!

Старшина питал ко мне нескрываемую слабость, переноса, вероятно, на запевалу свою любовь к строевой песне.

Вечерами Драгонюк скучал.

— Ваня Сиркин, а ну, заходи до мэнэ у каптерку! — приглашал он, приподняв полог нашей палатки.

— Павел я, Павел Сиркес, товарищ старшина.

— Ты запомни: колы хлопец наравыться, я його Ваней алы Сашей зову. А колы нэ — Алешей чи Жорой.

И шо цэ за хфамилия така — Сиркес? — удивлялся старшина — Сиркиным будешь, раз начальство говорить!..

В каптерке пахло сыроватым солдатским бельем и карболкой. Я усаживался на широкой табуретке, зябко поводил плечами. На них темнели беспросветные артиллерийские погоны.

Драгонюк снимал с гвоздя доброго сукна и офицерского кроя шинель и, точно бурку, набрасывал на меня, проявляя заботу о подчиненном, который справно несет службу, а заодно как бы поднимая до своего уровня: на его шинели золотые буквы: «т» — старшинские лычки, и со стороны могло показаться, что беседуют равные по званию.

— Закуривай, Ваня Сиркин,— протягивал Драгонюк пачку «Беломора».

Все вокруг смолили ядреную армейскую махорку. Папиросы были роскошью. Но я и тогда не курил, и потому отказывался.

— Знаю, что не занимаешься. И правильно робиш. Цэ для голоса добре. А колы начальство угощает, за честь должен считать.— Потом Драгонюк на своем суржике долго втолковывал мне, как надо жить на белом свете.

Кормили нас плохо. Даже скудный харч студента, перебивающегося, как я, на стипендию, выигрывал перед лагерным рационом. Под конец сборов, а продолжались они тридцать дней, совсем стало невоготу. Зарядили дожди. Столовая под открытым небом. Не успеваешь выхлебать жидкую баланду: сверху натекает быстрее.

— В последний раз ем эту гадость! — зарекся однажды за обедом.

— Так ведь не выдержишь,— подначил кто-то из ребят.

— А как же политические заключенные?..

В тот же день Драгонюк заглянул в палатку во время «мертвого часа».

— Сиркес или как тебя там?..— В этом было что-то новое.

Едва переступили порог каптерки, Драгонюк обрушился на меня:

— Так твою разэтак!!! Какие заключенные объявляли голодовки?..

— Политические.

— Где, мать-перемать?.. — визжал старшина, срывая натренированный голос сверхсрочника.

— В царских острогах, в румынских королевских застенках, а также в тюрьмах современного капиталистического Запада.— В моем ответе не было и тени юмора.

— То-то же! — облегченно вздохнул Драгонюк.— Болтают черт знает что, а доведись — дойдет до СМЕР-Ша?..

— Чего ждать, пока дойдет?.. Доложите. Только вам не поверят. Начальник парткомиссии армии полковник Холмин\* знает меня лично...

— Як же, вспомнит вин тэбэ!.. И оком не моргнэ — виткажеться! — Украинские слова были знаком, что он помягчел.

Ссылаясь на полковника Холмина, я и вправду верил, что «доведись до чего», тот меня защитит.

Братья Холмины появились у нас в сорок девятом году. Младший, Виктор, стал учиться в моем, девятом классе, старший, Станислав, — в десятом.

Елена Николаевна Холмина, полковница, по активности натуры очень скоро запредседательствовала в школьном родительском комитете. Я тогда был комсомольским секретарем. Поневоле приходилось вместе с Еленой Николаевной заниматься общественными делами.

Подружился я и с братьями. Они часто приглашали меня к себе. Я стеснялся к ним ходить. Стеснялся своей одежки — перелицованного румынского кителя и растоптанных солдатских сапог. Ну, кирзу заодно с портянками можно было сбросить в передней, напялив хозяйские шлепанцы. Китель же надевался прямо на нижнюю бязевую рубаху — его не снимешь.

Елена Николаевна заметила мое смущение и тайком, вкуче с другой полковницей, принесла матери вполне добротные галифе и гимнастерку. Другая полковница понадобилась потому, что форма с Холмина была бы мне мала, — к девятому классу я вымахал с коломенскую версту.

Председательница родительского комитета на том не успокоилась. Я был идеальным объектом для благотворительности: сын погибшего офицера, отличник и комсомольский секретарь. Мама получала на нас, троих детей, пенсию в триста шестьдесят плюс так называемая

---

\* Фамилии некоторых персонажей изменены.

хлебная надбавка — еще шестьдесят. В поликлинике ей, регистратору, платили те же триста шестьдесят. Все понимали, что на такие деньги жить нельзя.

Так вот, Елена Николаевна не успокоилась, пока ее комитет не справил мне костюм, телогрейку и демисезонное пальто. Телогрейка была сшита потому, что заказ на пальто срочно выполнить в мастерской не взялись, и когда грянули морозы, я снова теперь поверх советской гимнастерки надевал китель румынской королевской армии. Потом подоспело и пальто. Я проносил его все студенческие годы, благодарно вспоминал Елену Николаевну и наш родительский комитет.

Человек, на которого изливаешь столько доброты, становится безразличен. Елена Николаевна, видимо, ко мне привязалась. Я обретался уже в Кишиневском университете, на втором курсе. Однажды вызвали в деканат и сказали, что звонила товарищ Холмина — от телефон, адрес, должно быть, что-то срочное...

Не знал, что полковник получил новое назначение, и они с Еленой Николаевной переехали в молдавскую столицу. Стасик учился в Саратове, Витя — в Москве. Затосковала ли Елена Николаевна без сыновей или в самом деле по мне соскучилась? Наверное, и то и другое. Я снова стал бывать у Холминых.

Теперь Елена Николаевна не ограничивалась тем, что кормила меня доотвала, заготавливала бутерброды впрок, запихивая их в карманы того самого пальто. Нередко находил под свертком пятерку, а то и две. И так уж устроен человек — мне легко удавалось убедить себя, будто обнаружили завалывшиеся деньги.

Мы с Еленой Николаевной любили гонять чай. Порой она рассказывала о свежих кишиневских впечатлениях, из врожденного артистизма изображая, как малограмотная соседка-еврейка коверкает русскую речь. Получалось довольно натурально, можно бы и посмеяться, но меня это лицедейство отчего-то коробило. Заметив мою реакцию, Елена Николаевна возмущалась:

— И не стыдно, Павка! Ты же знаешь, как я отношусь к евреям. А уж тебя это и вовсе не касается. Никакой ты не еврей! Ну, что в тебе еврейского?

Я охотно соглашался, что, да, еврейского во мне, наверно, немного, раз все в один голос твердят: «Не похожнисколько». То хорошо — разговор на еврейские темы за сим прекращался.



Спустя годы и ты внушала:

— Тут что-то не так. Согрешила какая-нибудь из твоих прародительниц... Мама-го курносая, светлоглазая. Неужели не случилось в вашем роду смешанных браков?..

Нет, ничего подобного не донесли семейные предания. Я мог бы, конечно, отшутиться, дескать, нечто такое и вправду приключилось с кем-то из прабабок — невелик навет, старушка бы снесла. А то мог бы последовать примеру сослуживца: у него отец был евреем, так всех уверял, что мать его прижила...

Однажды я забежал к Холминым, а те принимают командующего армией с супругой.

— Заходи, заходи, — обрадовался полковник. — Сын приемный, — представил меня Алексей Алексеевич.

Сын приемный... Захотел бы — и фамилию сменил и все остальное...

Помнишь тот телефонный звонок?

— Здравствуйте, говорит поэт Осип Колычев. Извините за странный вопрос — мы с вами не родственники? Колычев — псевдоним. А вообще-то я Сиркес. Вы родом откуда?

— Из Молдавии.

— А деда своего помните? Как его звали?

— Моисей.

— Точно. Выходит ваш дед и мой отец — двоюродные братья. Я прочитал в «Литгазете» фельетон «Бумажный кирпич». Подпись — Павел Сиркес. Уж не родственник ли объявился? Гены, знаете... Отец ведь был известнейшим в Одессе фельетонистом. Печатался и в петербургских журналах — в «Осколках», «Будильнике», где и Чехов...

— Очень интересно!

— Приезжайте как-нибудь. Со мной живет сестра. Она старше и все отлично помнит.

Так и не довелось побывать у Колычевых. Осип Яковлевич вскоре умер. А его сына видел в театре имени Ленинского комсомола. В программе значилось: заслуженный артист Юрий Колычев.

В «Словаре русских псевдонимов» отыскал и отца и деда артиста. Отец взял фамилию боярского рода, истребленного Иваном Грозным. Дед выступал в прессе

чаще всего как Сириус. И только свою, кровную, не захотел никто.

А ведь с нашей жить еще можно.

— Что это у вас за фамилия? — иногда спрашивают. Вот и отбредиваешься:

— Бог его знает! Может, испанская, как Веласкес, Маркес, а, может, греческая.

Но задающие такие вопросы обычно не отступаются:

— Нации-то вы какой будете?

Каково, однако, Берману, Шейну или Нусману? И появляются Медведев, Красов и Орехов. И Михаил Бубликов призывает: «Раскроем псевдонимы!»

Константин Симонов ему возразил: нет, зачем же, каждый волен подписывать свои произведения, как считает нужным.

Симонову незачем прятаться за псевдонимом. И если из Кирилла стал Константином, то, вероятно, потому, что отмечен был дворянской картавостью. Впрочем, шофер его тестя, генерала армии Жадова, уверял меня:

— Еврей Константин Михайлович. Я и мать ихнюю видел — вылитая еврейка...

Это княжна-то Оболенская.

С самим же генералом Жадовым связана такая вот история.

Алексей Семенович происходил из крестьян Орловской губернии. А с фамилией вышла незадача: исконно русские люди, но Жидовы. Как бы там ни было, в армию Алексей Семенович ушел Жидовым. И честно служил, и дослужился до генерал-майора.

После Сталинградской битвы готовился победный приказ Верховного. Приносит командующий фронтом Рокоссовский проект Сталину. Тот увидел Жидова среди отличившихся и заартачился — не хочет подписывать.

— Что тут сделаешь, Иосиф Виссарионович, — это же фамилия?

— Что хотите, то и делайте.

Рокоссовский на свой страх и риск перерисовал «и» в «а». Командующий 66-й стал Жадовым, а армия 5-й гвардейской.

Но от подозрений Мехлиса генерал не избавился. Лев Захарович, приехав к нему, погорлопанствовал всласть, чем особенно и славился, а напоследок выговорил командарму:

— Слишком много у тебя евреев в политотделе и редакции! — Чуткий Мехлис угадал настроение Хозяина.

— С делом люди справляются. Куда же девать?

— В батальоны, в роты пусть идут политработниками, на передовую!

Услышав от меня рассказ Жадова, бывший главный редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (Вадимов) подтвердил, что такое вполне могло быть.

В сорок третьем году его самого вызвал начальник ГлавПУРа РККА Щербаков:

— В «Красной звезде» слишком много евреев!

— Уже стало на десять меньше, — ответил Ортенберг и протянул список убитых корреспондентов.

Ортенберг убежден, что даже решительный Щербаков не взял бы на себя инициативы в таком вопросе без прямого указания Сталина.

При рождении меня нарекли в честь дяди, убитого петлюровцами. Этот дядя считался гордостью семьи. Говорят, он и образованностью всех превзошел — закончил ешибот и русскую гимназию, стихи писал по-древнееврейски, был красивым и благонравным.

Петлюровцы ломались в жидовскую хату, «яка була краще иньших на вулицы», — спешили поживиться пархатым добром. Дверь не отпирали. Борцы за самостийну Украину стучали прикладами, кричали. Один от нетерпения стрельнул. Пуля попала дяде в сердце. Дядя женился всего три месяца назад. Его молодая жена была беременна.

У евреев существует обычай называть новорожденных именами дорогих покойников, как бы продлевая их жизнь. Мы с тобой и Сашеньке не выбирали имени — хотели почтить твоего отца.

Видимо, дядя Пинкус, Пиня в обиходе, был действительно замечательным человеком, если по нему назвали не только дочь, которая вскоре народилась, но и меня через четырнадцать лет, и моего двоюродного брата Павла Манделя, через тридцать.

Сызмалу кликали Павликом, Пашей, потом Павлом — так сказать, русская аналогия Пини, он же — Пинехас, кстати, имя древнеегипетское.

Следующий брат отца — Хаим, в отличие от дяди Пини, учиться не желал ни по-еврейски, ни по-русски. И стихов поэтому не писал. Поэзией Хаима были кони.

Это трудно объяснить, но почти все дедовы отпрыски мужеска пола оказались поражены бациллой лошадиного чума. Как будто Мойше Сиркис был не добропорядочным купцом, торговцем кожей и изделиями из нее, а, прости Господи, цыганом.

Бабушка Идис вышла за деда, когда тот остался вдовцом с двумя дочками на руках, лишь потому, что была сражена величавостью его осанки и благородством манер. Так вот, одержимость трех своих мальчиков конюшней (кроме Хаима там пропадали Лейзер и маленький Шлоймеле) бабушка истолковывала тем, что призванный торговыми делами муж, скитаясь по дорогам в поисках товара, вдосталь нагляделся на конские хвосты.

Недоброжелатели брак Идис и Мойше считали мезальянсом. Не в имущественном смысле. Купец был замужнее своего тестя, провизора. Но о такой ли участи мечтал он для дочери, которая после гимназии почти как француженка жила в гувернантках у крупного арендатора? В уважаемом семействе провизора никто, естественно, не водился с лошадьми. Значит, без сомнения, причиной, что внуки метили в балагулы, а по-русски — в кучера, был какой-то дефект по линии зятя.

Хаим и Лейзер, предчувствие не обмануло провизора, действительно, стали балагулами. И всю свою долгую жизнь пребывали в этом замечательном состоянии. Мой отец избежал такой судьбы, благодаря бабушкиной хитрости. Надежды вытащить из лошадиного чума уже укореившихся в нем старших сыновей не было никакой. И тогда Идис крепко задумалась о будущем младшего. Что же она сообразила? Купила мизинчику голубей, здраво рассудив, что победить любовь может только страсть.

Очень скоро мизинчик заделался ярым голубятником. На конюшню, а она находилась рядом, времени теперь не оставалось.

Расчет бабушки строился на том, что увлечение голубями должно с годами ослабевать. Если же, паче чаяния, этого не произойдет, профессионально подобным делом заниматься как будто нельзя...

Ослабленное голубиной охотой лошадиничество отца все-таки давало знать о себе даже через много лет. Помню, у него была верховая лошадь, когда строил укрепления на Днестре. Папа иногда приезжал на ней домой. Мне было три года. До сих пор чую головокружительный запах конского пота и дубленой седельной кожи.

Наверно, это раннее впечатление взбудрило дремавшие гены. Гостя после войны у дяди Хаима в приднестровской Рыбнице, как любил я возиться с его жеребчиком Мишкой! По утрам переплывал верхом на остров. Мишка пощипывал травку, а я читал, укрывшись в тени ракит. Сколько раз, носясь по отмели охлюпкой, летел через голову Мишки. Лишь сыпучий песок спасал — не то быть бы калекой.

Дядя Хаим, глядя на мои синяки, рассказывал, как папа в таком же, примерно, возрасте решил подзаработать, взял у него телегу, лошадей и нанялся возить сахар с рыбницкого завода. Время было тревожное. По округе рыскали бандиты. Как-то раз, под вечер, на пустынном шляху появилось двое всадников.

— Стой!

Испуганный подросток принялся стегать коней и в запале обронил вожжи. Соскочил с передка, стал лихо радочно распутывать ремни. Разгоряченная кобылица лягнула да так, что он, обезумев от боли, прыгнул ей на спину и вцепился зубами в ухо. Безумие точно передалось кобылице. Та рванула, увлекая и мерина. От погони удалось уйти. Не помнил, как добрался до братова подворья. Хаим ножом разжал окровавленные челюсти...

Слушая рассказ дяди, я припомнил, что у отца сзади на голове была заметная вмятина.

— Ты мне еще як-нибудь пару коний купишь — батькин долг вернешь, — закончил дядя Хаим.

— Долг?..

— Та шуткую! — Дядя изъяснялся на смешанном русско-украинском наречии, распространенном в левобережном Приднестровье. Он почему-то предпочитал его и еврейскому языку, и даже молдавскому, которым владел лучше, чем родным.

— Нет уж, говорите, если начали..

— Втопыв вин пару конив. Переправляясь через ерик у ледоход и втопыв. Добре, що сам не пийшов пид крыгу...

Вообще-то он не очень был словоохотлив, дядя. Лишь иногда, за выпивкой удавалось его разговорить.

Впервые я увидел Хаима в тридцать седьмом, когда папа попал за колючку — строил Рыбинское водохранилище под Москвой. Дядя приехал за мной к деду с материнской стороны в Дубоссары. Там я провел лето и

осень. А на зиму папина родня решила взять меня к себе, принимая свою долю забот о сироте при живом отце.

В Дубоссарах мы сходили с Хаимом в лавку. Он купил мне ботинки со скользкими блестящими подошвами. Жаль было обувать — ведь пропадет глянец... Пять рублей на личные расходы каким-то образом были связаны для дяди с моими годами, потому что он сказал:

— Подрастешь — больше получишь.

В Рыбнице я был отдан попечению тети Лизы. С дядей жить не мог. Он ведь вдовец. Хозяйство кое-как везет четырнадцатилетняя дочка Хаюся. А есть еще и младшая — Беллочка.

У дяди, несмотря на холодноватую запустелость его дома, было вольготнее, и я туда часто сбегал. Приходила бабушка Идис, чтобы испечь хлеба. Доставала муку из ларя, замешивала, ставила тесто. Дядя Хаим тем временем приносил замерзшие, в искорках дрова, растапливал русскую печь — ойвн. У евреев, оказывается, для нее есть особое слово.

Когда огонь разгорался, бабушка задвигала в очаг большой казан с водой, — у нас говорят казан, а не чугун. От турок, наверно, осталось. Я стыдился тети Лизы — купать себя позволял только бабушке, потому мой банный день благоухал опарой и свежееиспеченным хлебом.

Бабушка выгребала жар и золу. Прежде, чем посадить формы на горячий под, что-то таинственно шептала, перебрасывая с ладошки на ладошку тлеющий уголек. Начитавшись первых своих книжек, что двоюродные сестры носили мне из библиотеки, я жил в сказочном мире и воображал, будто моя бабушка — добрая колдунья и знает какие-то магические заклинания. Лишь через много лет тетя Лиза объяснила: бабушка молилась, благодарила Господа за ниспослание нам пищи земной.

Потом было купанье за припечком в большой дубовой лохани. А тут попевал и хлеб. Формы доставал дядя Хаим деревянной лопатой с длиннющим черенком. Горячий каравай приятно хрустел под острым ножом. Каждый из домашних получал пухлый ломоть. Мы с Хаюсей и Беллочкой смеясь щипали румяную теплую корочку.

Такими, веселыми и хохочущими, и запомнились: одна черноглазка, а другая — голубокая.

В тридцать девятом я снова был в Рыбнице, теперь с отцом — мы приехали на похороны бабушки. Отца только что досрочно освободили из лагеря. Он ушел в хлопоты, — заново надо налаживать жизнь, — и прособирался навестить живую мать. Тогда-то в первый раз и увидел, что папа умеет плакать...

Мы провели несколько дней в башке, — так в Молдавии называют полуподвальное жилье, — где дед с бабушкой поселились после переезда из Дубоссар. Дети их были против «этого погреба». Дед же после потери имущества в годы революции и гражданской смуты ударился в религию, а в башке, считал он, неприметнее, в ней вместо синагоги смогут собираться верующие.

В самом деле, каждое утро к нам приходили девять стариков. Облачившись в покрывала талэс и намотав на запястья ремешки твылн, они подолгу хором выводили печальные псалмы. Оказывается, есть молитвы, которые нужно творить вдесятером, иначе тугоухий еврейский Бог их не услышит...

Наверно, на один из дней выпал пост — йомкипур, потому что взрослые ничего не ели. Мне же дедушка дал краюху черствого хлеба. Я макал его в подсолнечное масло с мелко накрошенным луком. Всемогущий Ягве должен был с этим смириться, учтя мой нежный безгрешный возраст.

Дядя Хаим успел привести в дом жену. Когда я вырос, он как-то мне сказал, что выбирал мать дочкам. Новая хозяйка оказалась доброй и заботливой женщиной. И к великой радости дяди родила ему сына. Недаром существует примета, что накануне войны родятся мальчики...

Призвали Хаима в первый же день, двадцать второго июня. Необученного, необстрелянного бросили в пекло. Он и пообвыкнуть не успел — полк окружили немцы.

Тут не было выбора: еврей — получай пулю.

Внешность у Хаима такая, что и за украинца сойдет, и за молдаванина. Молдаване объявлены подданными Румынии, союзницы Гитлера. Дядя решил выдать себя за молдаванина. Ну, а станут проверять? У него был друг в селе Жура — Николай Вырлан, которого репрессировали в тридцать седьмом. Назвался его именем. Пошлют запрос в сельскую примарию, оттуда ответят: да, был Вырлан, пострадал от советов. Так оно и лучше...

После сортировки пленных дядю с группой подлин-

ных молдаван передали румынским властям. Но прежде немцы устроили всем «наружный осмотр». Что спасло Хаима? Нерадивость мойла, который обрезал ему крайнюю плоть? Или, может, фашисты установили, что так и должен выглядеть член у пожившего человека? Бог знает. Однако, пронесло.

Лагерь находился под Тимишоарой. Окрестные помещики — крестьяне были мобилизованы в армию — быстро смекнули, что пленные — это очень дешевая, дармовая рабочая сила, нужно договориться только со сребролюбивыми соратниками Антонеску. Ведь сам диктатор, не считаясь с Женевской конвенцией, одобрял эксплуатацию призонеров.

Дядя Хаим с двумя товарищами попал в обширное поместье. Владелец относился к ним терпимо, точно они обыкновенные батраки. Приглядевшись, выделил Николая, угадал дельного человека, знающего толк в хозяйстве и особенно в лошадях. Его назначили старшим на конюшню. Ну, не длань ли какого-то доброго ангела влекла его туда с детства?..

Иногда посылали за пределы помещичьих владений, например, покупать на ярмарке фураж. По врожденной склонности дядя вел расчеты с неукоснительной честностью. Как-то после упрямого торга выгадал на овсе изрядную сумму и возвратил хозяину. Тот удивился, сказал:

— Это твои деньги. Они тебе еще пригодятся...

Отныне Николай пользовался его полным доверием.

Однажды позвали к боярыне.

— Садись. Не забыл?.. Сегодня ведь праздник. А по такому случаю не мешает и выпить, — говорила помещица, наполняя цуйкой рюмки. — Лэхаим!

Он оторопел. Где тут было вспомнить, что «лэхаим» по-древнееврейски означает «за здоровье»?.. И первого слога не расслышал: узнали его настоящее имя! Вот она, смерть...

— Не губите, госпожа!

— Я давно поняла, что ты не тот, за кого себя выдаешь, — сказала боярыня. — Еврейское сердце почувствовало. Я ведь еврейка, но здесь об этом и не догадываются. Тебя выдали глаза — в них скорбь нашего народа.

Шел сорок четвертый год. Наступающая Красная Армия приблизилась к Румынии. Хаим начал готовиться к



побегу. Осторожно, исподволь выведывал, какое настроение у товарищей — если уходить, то вместе.

— При сильном ветре доносит артиллерийскую канонаду... Что думаешь делать? — спросил у Петри, пожилого мрачного молдаванина.

— А ты?

— К своим надо подаваться... У меня собрано немного денег — на дорогу хватит...

— Прости, Николай! — упал на колени Петря. — Грешен перед тобой. Я о твоих деньгах узнал давно и подбивал напарника: давай, убьем боярского прихвостня, заберем леи — и к нашим. Прости, друг!

Через несколько дней Николая потребовал к себе помещик.

— Русские близко. Здесь вам нельзя оставаться. Бери кэруцу, коней, я дам бумагу, будто едете по делам усадьбы — и с Богом. Пробирайтесь навстречу солдатам.

Пленные вышли к своим где-то под Яссами. Их допросили — кто да откуда и зачислили в строй.

Дядя пробыл в действующей армии до конца войны. Теперь-то о нем и вспомнил уполномоченный контрразведки: еврей, а уцелел, как? И очутился Хаим в фильтрационном лагере, откуда его послали на строительство Волго-Дона. Домой в Рыбницу он вернулся в конце сорок седьмого. И лишь тогда услышал о детях и жене.

Рыбницкая наша родня — семьи дяди Хаима и тети Лизы (тетя, ее хромой муж — одна нога короче другой на девятнадцать сантиметров, а покалечило его еще в юности на разработках известняка, шестилетняя дочка) и дед Моисей эвакуировались на подводе. Ехали днем и ночью. Добрались до Днепра. Мост был запружен беженцами и отступающими войсками. Фашисты сбросили десант, перерезали дорогу. Наши очутились на оккупированной территории. Им, как и остальным гражданским, приказали отправиться по месту жительства — там разберутся.

Двинулись в обратный путь. Было голодно. Кормились позабытыми в поле початками кукурузы, невыкопанной свеклой.

В Дубоссарах ретивый румынский жандарм задержал деда, приняв его за раввина. Раввинов почему-то отделяли от паствы.

Потом дубоссарские знакомые рассказали о деде. Его зачем-то водили по улочкам местечка, где он увидел бе-

лый свет, где прошла большая часть девяностолетней жизни, где вел честную торговлю с крестьянами окрестных сел, где родил многочисленных детей и нянчил внуков. Старика водили по улицам, а он не понимал, чего от него хотят.

Расстреляли дедушку надо рвом, в котором, как подсчитали после войны, свалено восемь тысяч евреев. Памятника там нет и до сих пор.

В Рыбнице наши узнали, что евреям надлежит селиться в гетто — для этого огородили колючей проволокой несколько кварталов. Здесь негде было работать. Люди перебивались тем, что, рискуя жизнью, удавалось выменять на вещи у приезжающих в городок молдаван. Отовсюду ползли слухи о массовых расстрелах. Румынский комендат требовал хабара, то есть взятки, яकोбы для откупа немецким карателям.

Нервное напряжение было чрезмерным. Жена дяди Хаима подалась тайком с детьми в село Жура, надеясь укрыться у друзей мужа. Тетя Лиза, фаталистка по натуре, удерживала ее, доказывала: чему быть, того не миновать, разлучаться нельзя да и легче всем вместе. Удержать невестку не удалось...

Кто, по какому побуждению, из какой корысти выдал несчастных моих близких не известно. И ходит по земле неопознанный. Жура видела, как фашисты повели на берег Днестра истерзанных девушек и женщину с маленьким сыном на руках. По свидетельству сельчан, перед казнью палачи при матери надругались над дочками.

Как же долго я не догадывался, что принадлежу к гонимому, преследуемому, обреченному на пытки и смерть племени!

Дядя Хаим надеялся. Он надеялся в плену, на фронте и в советском лагере. Как не умер, когда узнал о своих, Бог ведает... Несколько лет дядя был точно не в себе.

Тут родные вспомнили о древнем еврейском обычае, по которому свободный от брачных уз мужчина брал в жены вдову брата, чтобы печься о его детях. Так, думали родные, удастся спасти Хаима. Деликатно намекнули маме. Но слишком все свежо было... Да и далеко-то мы убрели.

А дядя Хаим выстоял. Со временем привел в дом женщину. Она родила сына и дочь. И осталось от него четверо внуков.

Не поверишь, помню себя с двух лет. И помню, что в нашей семье всегда говорили по-русски. Лишь иногда родители переходили на невнятный язык. Я считал, что у них есть своя речь для сокрытия взрослых тайн.

Случалось, мама ласково называла меня какими-то непонятными словами... Впрочем, смысл проясняли интонации, взгляд, жест. Я не разумел, что мы не такие, как все. Во дворе жило много семей, подобных нашей. Мы, дети, сознавали себя советскими. Других не было вокруг.

Племянник Андрюша в таком возрасте ощущал себя уже совсем по-иному. Дед, Андрей Дементьевич, долго ему внушал, что он украинец. Отставной подполковник—добрейшей души человек в похвалу своей снохе Иде говорит с придыханием: «Ах ты, мое жидэня!» Но внук его, считает Андрей Дементьевич, должен и сознавать себя и быть щирым украинцем.

Андрюша поверил деду и заявил в детском саду.

— Я украинец.

— Какой же ты украинец, если у тебя мать — еврейка? — возразила правдолюбивая воспитательница.

Андрюша стал допытываться у деда:

— Ты зачем меня обманул?

— Я сказал — украинец, значит, ты — украинец! — отрезал Андрей Дементьевич

И Саша сызмалу прекрасно разбиралась во всем этом. А помнишь, наша второклассница вернулась из школы возбужденная и рассказала об учительнице, которая спросила на уроке у ребят, знают ли, что происходит на Ближнем Востоке. Восемилетние международники отвечали: да, конечно, там война.

— А кто с кем воюет? — Бывшая сержантка батальона аэродромного обслуживания поднаторела в педагогике.

— Арабы с Израилем! — хором выкрикивали дети.

— А кто за кого болеет? — не унималась учительница.

Все болели за арабов. Лишь одна девочка оказалась на стороне Израиля.

— Вон из класса! — напустилась учительница на юную сионистку, кстати, совсем не еврейского происхождения. — И не приходи без родителей...

Случайно свидетелем этой сцены оказался директор школы. Он проявил сдержанность — не прореагировал.

Поднял руку Слава Троссман, отличник и примерный октябренек.

— Тебе чего, Троссман? — недовольно спросила учительница.

— Я тоже болею за арабов, — сказал Слава, — но я должен защищать маленьких ребят.

Через день или два меня пригласили на родительское собрание. Выступали и отцы и матери. Но никто не коснулся происшествия во втором «а». Промолчал и я — как бы не отразилось на ребенке.

— Вы думаете, мне не известны ваши домашние разговоры? — Учительница пронизательно смотрела на нас, скрючившихся за партами недомерками. — Дети — они, как стеклышки. Через них все видно...

Родители виновато цепенели в ответ.

Немудрено, что Саша стала специалисткой по национальному вопросу и большой дипломаткой.

Случай с няней.

— Есть-то что будешь? — спросила та у Саши, вернувшейся из школы.

— Съела бы кусочек курицы, — сказала дочка, которая накануне помогала матери готовить обед на завтра.

— Ишь, курочки захотела, точно еврейка какая-то! — пошутила няня, но Саша не поняла такого юмора.

— У меня дедушка был еврей.

— Это какой дедушка?..

— У меня оба дедушки были евреи.

Потом дочка делилась с родителями:

— Тут я почувствовала, что няне это почему-то не понравилось.

— Ну, и ты?..

— Что тут скажешь?.. Но вдруг догадалась: «Здорово я вас разыграла?»

Как-то мы были в писательской поликлинике. Ровесница-полукровка, услышав Сашину фамилию, спросила:

— Ты кто, еврейка?

— А у тебя дома какие растения? — как в еврейском анекдоте, вопросом на вопрос ответила сообразительная третьеклассница.

Вот он, подлинный интернационализм!.. В следующем поколении.

Отца арестовали, а я был увезен в Дубоссары к бабушке и дедушке с материнской стороны. В Дубоссарах-

то вдруг и обнаружилось, что тамошние мои сверстники знают тот самый взрослый язык, причем, усвоили его не из желания проникнуть в секреты родителей — эти дети просто не умели говорить по-иному. Когда впервые вышел погулять и обратился к соседскому мальчику, бабушке пришлось переводить меня. Переводила она через пень колоду, потому что до конца своих дней так и не научилась сносно изъясняться по-русски. На ее перлах — «я чуть сама с горы не сошла» (я чуть с ума не сошла от горя), «дай Бог всем такого зада» (такого зятя — о моем отце) оттачивали свое остроумие и дети и внуки.

Должно быть, нет лучшей языковой школы, чем ребячья болтовня. Очень скоро я уже понимал идиш. Дialect, или жаргон, был в ходу у жителей местечка. Немало встречалось молдаван, украинцев, русских и даже цыган, которые живя бок о бок с евреями усваивали их мамы лушн, то есть материнскую речь.

Дубоссары были типичным еврейским местечком. Такими они стали задолго до того, как царское правительство объявило о черте оседлости. Как, с какими остановками на тысячелетних путях рассеяния предки дубоссарских евреев прибывали к днестровскому берегу, установить, вероятно, невозможно. Видать, в своих странствиях не миновали Германии — отсюда и их язык, и сходные с немецкими фамилии.

Мои пращурь жили здесь с незапамятных времен — ремесленники, которые обменивались с крестьянами результатами личного труда, торговцы, служившие посредниками между первыми и вторыми и доставлявшие товары со стороны.

Исаак Бабель писал о типе «южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино». Этот тип сложился в силу особых обстоятельств. В благословенной земле отошли душевно, распрямились физически беглецы от инквизиции и феодалов, бывшие затворники средневековых европейских гетто. Коренное население относилось к пришельцам хорошо, потому что нуждалось в их мастерстве и коммерческой сметке и вследствие обычной своей терпимости, вызванной привычкой к вавилонскому смешению языков в краю, где издавна находилось место сынам многих народов. Крушеван еще впереди...

·Сделавшись подданными Российской империи, ищущи-

щей выхода к полуденным морьям, наши евреи сохранили присущие им черты.

Ну, а вообще, откуда в России евреи? В исконных русских пределах их вроде никогда и не бывало. Под скипетр царей они попадали вместе с приобретенными территориями — бывшими областями Польши и Прибалтики, Украины и Молдавии, Бессарабии и Закавказья. Потом — и Средней Азии. Еще при Петре Первом сын толмача посольского приказа Шафиров, вице-канцлер, был единственным известным евреем в Московии.

Несколько лет назад дачная хозяйка растапливала печь ветхими журналами. Я выпросил у нее несколько книжек. Среди них оказался и один из номеров «Еврейской старины» за 1909-й, кажется, год. Большая часть публикаций была посвящена призванию евреев в Россию. Не исключено, что в этом печатном органе вопрос освещался тенденциозно. Но приводились документы, они доказывали: Екатерина Вторая обращалась к рижской, к некоторым прусским и другим еврейским общинам с предложениями выделить семьи, желающие переселиться в ее владения. Императрица обещала всяческие льготы и привилегии.

Льготы и привилегии сохранялись надолго и постепенно приняли весьма своеобразный характер. Уже в период новейшей истории евреи испытали здесь всевозможные унижения, подверглись ограничениям и запретам: вместо гетто была черта оседлости, погромы устраивались время от времени, а нравственные издевательства не прекращались никогда. Вот почему из евреев рекрутировалось столько противников режима. Вот почему им довелось сыграть заметную роль в свержении царизма.

Энгельс указывал, что антисемитизм есть признак отсталой культуры и потому встречается лишь в России и Австро-Венгрии. Австро-Венгрия распалась. Уничтожено еврейское население составлявших эту империю стран. Россия стала Советским Союзом. Кажется, должен бы умереть антисемитизм?..

Да, я сберег память о евреях юга, сильных и жизнерадостных.

Второй дед, Нухим, в молодости кузнечил. Он отличался необыкновенной физической мощью. И состоял в отряде еврейской самообороны, когда разразились погро-

мы. Говорят, дед на спор мог согнуть тремя пальцами серебряный полтинник.

Отправившись в деревню на заработки, Нухим провалился в полынью, застудился и, мучимый астмой, вынужден был сменить профессию. Стал столярничать. И всех сыновей, а было их четверо, с малых лет приучал. Так и трудились они семейной артелью.

Этот дед любил строить. Сооружая жилища для других, он мечтал возвести дом и для себя. Его мечта сбылась поздно, когда выросли дети, — с их помощью. И сейчас можно увидеть в Дубоссарах каменный особняк, где на парадных дверях дед собственноручно вырезал свои инициалы — Н. К. — Нухим Кацевман.

В строительстве дома участвовал и мой отец, причем, он помогал не просто как зять — тестю. Отношения у них были давние и сложные...

Своевременно перешибив лошадиничество младшего сына голубями, бабушка Идис — нужда навалилась — в пятнадцать лет отвела его учеником к соседу-столяру. В прежние времена такая карьера была бы немыслима для купеческого отпрыска, но экспроприированные отцовы старики смирили гордыню. По местечковой иерархии быть столяром считалось не так уж плохо. Портной и сапожник — вот кто стояли в самом низу ремесленной пирамиды.

Значит, занятие — не из последних. А семья, куда отдавала она сына, слыла хорошей. Это для бабушки Идис было очень важно. Но как очень скоро выяснилось, в семье и таились неожиданности. У Нухима-столяра подрастали три дочери. В среднюю, Хану, отец влюбился с первого, как говорится взгляда. Неужели не видел прежде соседской девчонки? Видел, да только теперь вдруг понял, что это она... Хане недавно исполнилось тринадцать лет. Высокая и стройная, она казалось совсем взрослой. А уж красивая — слов нет... И кровь с молоком. Ходила в еврейскую семилетку, дружила с одноклассниками и, казалось, даже не заметила, что у отца появился подмастерье...

Уже старенькая мама мне призналась как-то, что и ей он понравился сразу же, хотя жутко его боялась: голубятник, оседлал маковку церкви — полез за яйцами сизарей.

Однажды подмастерье ни с того, ни с сего побил самого назойливого из школяров, провожавших Хану пос-

ле уроков, и таким образом обнаружил тайное чувство. Деда столь оригинальное проявление любви к дочери вывело из себя. Не хотелось ему терять способного и работающего помощника, но крутой был у него характер — выгнал.

Оставшись не у дел, юный мастеровой набрал артель из таких же, как сам, молодцов. Двинулись в поисках подрядов по селам. Столярничали и плотничали на крестьянских дворах все лето и осень.

В воздухе уже кружились белые мухи, когда папа подъехал к дому бывшего учителя на телеге, доверху заваленной тугими мешками. Часть поклажи была быстро выставлена на крыльце у Кацевмана, так быстро, что никто не успел воспрепятствовать самовольным дарам. Пришлось деду Нухиму идти к достопочтенным Сиркисам.

Папа подготовил бабушку Идис к его визиту. Она посоветовала доброму соседу рассматривать содержимое мешков да и саму тару как плату за ученье. Дед отказывался, говорил, что сроду не держал наемных работников, слава Богу, обходится силами своей семьи.

— Да ведь и мы не чужие,—убеждала бабушка Идис, намекая на какую-то неясную и достаточно отдаленную возможность.

Изложенное выше мне, тогда подростку, ровеснику отца в пору его ученичества у деда Нухима, рассказала другая бабушка — Сима.

— Можешь поблагодарить революцию,—заклчила она.— Без нее тебя бы и на свете не было... Разве эти гордецы, эти ихис (благородные,— П. С.) Сиркисы породнились бы с нами, если бы не переворот?..

Бабушка Сима считала себя демократкой. И у нее имелись на то основания. Ну, взять хотя бы ее брак...

С дедушкой Нухимом бабушка познакомилась на пароходе по пути из Аккермана в Одессу. Ей глянулся молодой красивый ремесленник. Ремесленник!.. Об этом как раз она и не догадалась. Внешне дед производил впечатление преуспевшего в этой жизни человека.

Когда выяснилось, что жених — всего лишь кузнец, а правду открыть он не спешил, восстала бабушкина родня. Делать, однако, было нечего да и терять тоже: приданого ей не обещали. И влюбленная демократка пошла замуж, вопреки воле тетки, которая ее взрастила.

У прабабушки дети почему-то умирали, все умирали



во младенчестве. При рождении же Симы, чьим уделом также было срочно переселиться под райские кущи, ее попытались спасти для земной юдоли. По совету раввина, прибегли к старинному средству: дабы обмануть смерть, надо было не только изменить ребенку имя, но и передать того на воспитание в родственную семью. Так маленькая, названная сначала по-другому, стала Симой и приемной дочерью своей же тетки.

Дед Симы был николаевский солдат. Тянул армейскую лямку полных двадцать пять лет и закончил службу полным георгиевским кавалером. Закон и ему, и потомству его предоставлял право селиться вне черты оседлости. Блага этого никто из наших так и не оценил: уж слишком были привязаны к малой своей родине — Бессарабии. А бывалый солдат прожил сто пятнадцать лет, получая семьдесят из них государеву пенсию, усмотрев в долговечности способ возместить принесенный царю и отечеству срок. Бабушка Сима вспоминала, что дед ее напоследок стал слаб глазами, не различал день и ночь и иногда обращал молитвы к спящему Богу. Справедливости ради, она признавала, что ум старика сохранял ясность, он единственный поддержал влюбленных неслухов...

Выходит, и эта бабушка не в пример деду Нухиму могла гордиться родословной, но как женщина мудрая не часто возвращалась к щекотливой теме. Мне же о прошлом рассказывала охотно. Я был мал, памятьлив.

Мы часто ходили с бабушкой в гости к ученому соседу — шойхету. Думал, это фамилия, оказалось — профессия: резник. Шойхет и бабушка толковали о Библии.— Священном писании. Старуха колебалась между верой и неверием, старик укреплял ее дух.

В сорок первом шойхета расстреляли фашисты. Его казнь надолго, если не навсегда подорвала религиозность бабушки.

— Если б Он был, разве допустил бы убийства детей и праведников? — Такой вопрос я не раз слышал от нее после войны.

Ну, а пока все еще раскручивается тридцать седьмой страшный год. Папу уже арестовали. Скоро возьмут и дядю Пали Марковича... Отвлекаясь от повседневных тревог, шойхет с бабушкой говорили об Иосифе Прекрасном, о злом сановнике Амане, задумавшем истребить евреев. Амана постигла жестокая кара — побитие камня-

ми. Так рано или поздно бывает с любым, кто посягает на наших соплеменников... Говорили о Вавилонской башне и вселенском смешении языков. Не здесь ли следует искать истоки несовершенств современного мира? Заходила речь и о Христе. Он рожден еврейкой Марией в семье благочестивого плотника из Назарета, значит, сам еврей. Новая религия, основанная им, видимо, не лишена смысла, многим она подходит как нельзя лучше. Он ведь с пеленок поражал всех необыкновенным умом. Но так ли уж то, что он проповедовал, отличается от учения древних пророков?.. И почему его муки и кровь пали на евреев? Приговорил к распятию Понтий Пилат, вершили казнь римляне... Старики рассуждали, как папа Иоанн XXIII в знаменитой энциклике.

Скажешь, слишком ты был мал, чтоб понимать такие речи, не мог запомнить подробностей и имен. Произошла аберрация памяти, и более поздняя информация наложилась на ранние впечатления. Возможно. Недавно, перечитывая Боккаччо, я вспомнил, что и притчу о трех перстнях слышал в детстве. Не стану уверять, что рассуждения шойхета и бабушки об этой притче были оригинальнее, чем у Лессинга. Между тем, в ответе Мельхиседека Саладину заключено нечто глубокое, чего не понял султан Вавилона. Да, перстни — и подлинники и копии, уподобленные трем главным всемирным религиям, неотличимы, но ведь о религиях известно, какая была первой и послужила прототипом двух других.

Христианство могло развиваться лишь благодаря еврейской веротерпимости. Утратив государственность, древние иудеи уповали на один только дух — он станет оплотом народа, сохранит его. Ессеи вбирают в себя отступающих от канона. И так даже лучше: происходит очищение. Язычников новое учение привлекло позднее...

Папа и дядя Маркович сидели.

Причиной папиного ареста дедушка Нухим и бабушка Сима считали его лихой характер. Может, не было бы никакого лагеря, если б не нашли при обыске незарегистрированный бельгийский браунинг?.. Сема — любимый зять, хотя сорвал Хану из девятого класса, показал на что способен, выбился в люди. Кто поверит, что он враг народа, когда вырос буквально на глазах у местечка?.. Столяр, а после рабфака заделался коммерческим директором на большом заводе. И где — в столице, в Ти-

располе?! А револьвер? Представьте, Сема сумел доказать, что не мог без него обойтись. Когда у тебя бывает на руках до миллиона наличными, как еще уберечься от бандитов? Ничего, пять лет пролетят. Может, даже лучше, что нашли этот пистолет...

У Пали Марковича ничего не нашли, разве что книги Маркса и Энгельса на немецком языке, и дали десять лет без права переписки. Да, он еврей, но все-таки иностранец. Бог знает, что тянется за ним из-за кордона?..

Бабушка сетовала на тетю Розу:

— Не хотела выходить за своего, дубоссарского!.. Такие мальчишки за ней бегали — куда там! Ей нужно было что-то с бантиком...

Дядя Пали Маркович был словацкий эмигрант, переправленный в Советский Союз Коминтерном. Мамина старшая сестра — красавица Роза работала тогда машинисткой в Молдавском ЦИКе. Здесь ее и познакомил с Марковичем один из руководителей автономной республики доктор Сатмари. Сатмари знал Марковича еще по австро-венгерскому коммунистическому подполью. Он и был посаженным отцом на свадьбе. А в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах оба оказались посаженными. Вот как каламбурит жизнь...

Должен повиниться перед тенью доброго дяди Пали. Молодые гулены-родители частенько подбрасывали меня степенной тете Розе. Проснувшись среди ночи, я видел дядю Пали, прильнувшего к радиоприемнику. Потом, когда общая шпиономания захватила и меня, каюсь, не раз думал: наверно, просто не разобрал по малолетству, что Маркович выходил в эфир с помощью вмонтированной в приемник рации — не могли же его арестовать без причины?.. Специально был заслан к нам и на тетке женился, чтобы больше доверяли...

А славный улыбчивый дядя Пали ни в чем не был виноват. В шестидесятые годы тете Розе сообщили, что «необоснованно репрессирован», выдали бумагу о реабилитации «за отсутствием состава преступления», выдали и компенсацию в размере двухмесячной зарплаты мужа. Компенсацию за жизнь человеческую, за муки и унижения, которые двадцать с лишним лет терпели жена и дочери «врага народа»...

Я тоже рос без отца. Когда спрашивали о нем, с гордостью отвечал: «Папа погиб на фронте». А что могли сказать двоюродные сестры Корвина и Галя?..

Как десять лет без права переписки обернулись смертью неизвестно где и когда? Не сохранилось даже фотографии дяди Марковича. Я по памяти рисовал Гале ее отца — она родилась после его ареста.

Году в семидесятом один знакомый, собирая материал для диссертации, обнаружил в архиве дело Марковича. В нем был снимок — дядя Пали с женой и дочерью. По словам тети Розы, этот снимок он всегда носил при себе.

Не знаю, хватились ли в архиве фотографии. Теперь она хранится в семье. Другой Пали, Павлик, внук, убедился, что он очень похож на деда.

У Марковича оставались родные в Словакии. После войны не раз внушал тете Розе:

— Надо разыскать.

— Что я им скажу?.. — колебалась она.

Как-то удалось добыть адрес Чехословацкого Красного креста. Мы составили с тетей запрос. Ответ пришел через несколько месяцев: «Семья Марковичей вывезена оккупантами в неизвестном направлении».

Извели всех. Но есть Павлик. Правда, его фамилия Боярский.

У подножья белых невозмутимых гор, в Алма-Ате,  
переезжал в новое здание республиканский партархив.  
Солдаты в форме пограничников  
перебрасывали с рук на руки  
картонные коробки —  
чуть больше канцелярской папки каждая.  
Оцепление из автоматчиков.  
Два офицера в защитного цвета плащах.  
Справа сзади у них топорщилось.  
Коробок было много.  
Клади одну на другую — рядами.  
Наполнялся крытый брезентом армейский грузовик.  
Солдатам нравилась работа:  
перебрасывание коробок походило на игру в ручной мяч.  
Ребята улыбались.  
Может, они не знали,  
что в каждой коробке —  
дело расстрелянного в тридцать седьмом?  
Расстреливали и до и после.  
Что известно об этом молодым солдатам?  
А грузовики подъезжали и подъезжали.  
И продолжалось это всю неделю,  
пока я ходил в архив,  
чтобы смотреть в кинозале военную хронику.

Вернемся, однако, в Дубоссары, в только что выстроенный дом дедушки Нухима. Несмотря на беды,

жизнь продолжалась. Я замечал за родичами: в несчастье они меж собой дружнее и не поддаются унынию. Дед весь день столярничал в сарае, где устроил себе мастерскую. Бабушка вела хозяйство. Последыши — сын Шмилик и дочь Рива были совсем юными, но уже давно работали: первый — краснодеревцем, вторая — почтовой служащей.

Вечерами в просторной зале собирались друзья брата и сестры. Шипел старинный граммофон с широким раструбом в медалях, танцевали. Музыкальный Шмилик играл на скрипке.

Дедушка спускался в погреб, нацеживал вина. Бабушка выкатывала на стол каленые грецкие орехи — прямо из ойвн, подавала штрудель и лейкех. Вино и печенье были домашнего изготовления. Крестьяне чаще всего платили деду за его поделки натурой — привозили на возах всякую снедь, корзины винограда. Столько не съешь. Вот и обращали ягоды в хмельную влагу. Помню, усаживались семьей вокруг большого деревянного чана, ощипывали загорелые и точно припудренные грозди. Потом содержимое чана отправлялось под пресс. Он был общей собственностью местечковых виноделов и переходил от соседа к соседу. В Дубоссарах вино не переводилось в каждом доме. Сок сливали в бочки, а выжимки оставляли на корм курам и прочей живности. Случалось, выжимки успевали забродить. Тогда по двору шатаясь бегали пьяные петухи и квочки с цыплятами.

Молодежь не скучала и без выпивки, но дедушка не мог не выставить угощения. Бабушка одобряла вечеринки, веря, что веселье отгоняет напасти: не удержаться горю под крышей, где раздается веселый смех. Да и соседи пусть убедятся: не так уж плохо у Кацевманов с зятями...

Пелись песни — еврейские и молдавские. А разговоры велись только по-русски: среди гостей почти всегда оказывались командиры с погранзаставы. Дубоссарские ребята и девушки не упускали случая попрактиковаться в языке, который понадобится, когда наконец вырвутся из штэтл — из местечка.

Старики отсиживались на кухне, чтобы не мешать молодежи. Меня же бабушка неизменно отправляла в залу и потом дотошно расспрашивала, что там происходило. В этом был тонкий расчет. Я, конечно, едва ли мог своим присутствием стеснять Риву и одного из братьев

командиров, а их разговоры пересказывались бабушке в доступных ей словах. Таким образом, она узнавала больше, чем если б даже слышала все сама... С некоторых пор этот лейтенант слишком пристально смотрел на Риву. Новый зять, пограничник, был бы сейчас как нельзя кстати. Но бабушка была убежденной противницей смешанных браков и старалась пресечь скоропостижно развившуюся у дочери привычку ощущать на себе настойчивый командирский взгляд.

Тетя и ее ухажер, вероятно, догадывались об отводимой мне роли на вечеринках и о бабушкиных происках.

— А не сходить ли тебе на новую картину? — вдруг предлагал пограничник.

Я получал на руки двадцать пять копеек, — ровно столько и стоил тогда билет в кино, — и убегал к старикам: чтобы реализовать идею, требовалось согласие бабушки.

— Ты еще маленький для вечерних сеансов, — твердила она, когда я начинал канючить про фильм. — Дядя ему дал двадцать пять копеек!.. Столько и я могу. — Извлекала монеты из карманов необъятного капота. — На, возьми. Добавишь завтра на конфекты.

Теперь, подкупленный каждой из заинтересованных сторон, я все-таки настаивал на кино. Без дедушки тут было не обойтись — вечером детей пускали только со взрослыми. Но уговорить его было легко: в ту пору он меня обожал и ни в чем не отказывал. С годами дед сильно ко мне охладел. Я не понимал, в чем причина, искал ее в себе — в приобретаемых с возрастом пороках. А объяснялось все просто: деду хватало любви к последнему, меньшому внуку. Появлялся новый мальчонка — ему она и доставалась.

Молодежные посиделки устраивались когда угодно, только не в канун субботы. Бабушка готовилась к ней, как к празднику, приберегала самое вкусное, пекла, варила. В пятницу вечером зажигали свечи в надраенных мелом до сияния бронзовых шандалах.

— А гитн шобыс (доброй субботы, — П. С.), — говорил дедушка под трепыхание легких ароматных язычков пламени.

С этого момента и до воскресенья никто не смел в доме запалить огонь. Пицца разогревалась на поду — он долго не остывал после выпечки хлеба. Как ни скромны доходы, субботний обед отличался от обедов в остальные

дни. За столом собирались своей семьей, забывая обиды и недоразумения. Казалось над домашним очагом витала некая духовная эманация. Каждый лучился добротой и радушием. И от этого, наверное, возникало сознание: ты не случайно появился в мире, тебя хотели и ждали, и твоя жизнь необходимое звено в неразмыкаемой родовой цепи.

Естественна и самоуспокоительна мысль, что ты из новой породы — советских людей, лучших и равных. Таких никогда не было прежде на земле. Они родились лишь после нашей революции. Мы — интернационалисты. У нас все общее. Но почему в тебе эта захлестывающая волна, когда звучат еврейские песни?.. Ты раньше их не слышал, отчего же мелодия отворяет душу, и в ней поднимается что-то, будто известное давно и позабытое, всплывает, как из другой жизни?..

Признайся, тебя и судьбы евреев как-то по-особому волнуют. Да разве такой уж грех принять в сердце тревоги гонимых, пусть они и твои соплеменники?!

Заглянул на огонек старый, еще с университетских лет товарищ. Вышли на балкон — покурить ему захотелось.

— Послушай, Паша, ты состоишь в двадцатке? — вдруг невпопад спросил он.

— В двадцатке?..

— Говорят, все евреи объединены в двадцатки — такие организации. Ну, взносы и прочее...

Мне оставалось только руками развести.

— Ты, старичок, не обижайся. Сам знаешь, я не антисемит.

— Да как ты мог поверить?.. Когда-нибудь замечал, чтобы я отдавал кому-нибудь предпочтение из-за того, что он еврей?.. Постой, вспомнил. Я однажды уже имел дело с двадцаткой — и именно из-за тебя.

— Это когда же?

— Статья «Именем бога Ягве». Помнишь?..

— Да ведь ты был моим соавтором.

Он появился тогда вдвоем с ответственным секретарем редакции.

— Прочти, пожалуйста, и поправь, чтоб душка не было, — попросил секретарь.

Я слегка прошелся по тексту, что-то предложил убрать, против чего-то выставил на полях вопросительные

знаки. Речь шла о злоупотреблениях в Кишиневской синагоге; в совете религиозной общины, так называемой двадцатке, орудовали жулики — в статье были ссылки на документы, приводились денежные суммы, украденные конкретными людьми.

Ответственный секретарь и автор согласились с моими замечаниями и предложили:

— Не возьмешься ли подработать материал — лучше ему идти за двумя подписями.

Перечитал сейчас то, что тогда опубликовали. Все правда. Выступление газеты было, пожалуй, полезным. Но ясно, что мое имя использовали, чтобы пресечь подозрения в тенденциозности.

У товарища и так не чувствовалось душка — антисемитизм был ему органически чужд. Наша замглавного редактора злилась:

— Отчего это ты всегда за евреев вступаешься? Что-то больно уж подозрительно у тебя волосы кучерявятся!..

Правда ли сей чистокровный русак похож на еврея? По-моему, нет. Но в университете, когда нас, что называется, водой было не разлить, помнится, приятели-геологи приставали ко мне:

— Что ты все с этим еврейчиком ходишь?..

Вскоре, обыгрывая мнимое еврейство, мы немилосердно подшутили над хозяйкой его квартиры. Муж нестарой этой женщины вернулся с войны израненный, вот ее и тянуло к молодежи. Соберемся, бывало, в комнате товарища, она тут как тут. А товарищ наделен замечательным даром звукоподражания. На том и строилась хохма.

— Придет хозяйка, — наставлял я «еврейчика», — ты посиди немного, а потом встань и скажи: «Их гей хопн а лыфт» (я пошел вдохнуть свежего воздуха). Повтори. — Он мигом усвоил еврейскую фразу, причем, произношение странным образом оказалось лучше моего. — Сделает удивленное лицо, спросишь: «Вус кикт ир азой аф мир?» (Что вы на меня так смотрите?) — Столь же блистательно было затвержено и это. — Окончательно теряет способность говорить — тебе остается лишь попрощаться: «Ну, зайтчи мир гезынт!» (Ну, будьте мне здоровы!)

Хозяйка не заставила себя ждать. Появилась принаряженная, улыбаясь, уселась за стол, предвкушая веселую беседу со студентами. И тогда «еврейчик» выдал первую реплику. Реакция оказалась даже сильнее, чем



предполагалось. Его она только подзадорила. Закончил монолог, вышел. Бедная женщина выпалила ему во след:

— Он что — еврей?

— Вы только теперь узнали? — притворно удивился я.

— Боже, мы с мужем такое при нем говорили! — убивалась хозяйка. Утешить ее было невозможно.

А началась наша дружба еще на первом курсе. Встретились случайно на Комсомольском озере солнечным теплым утром.

— Давай соревноваться — кто быстрее проплывет стометровку кролем, — предложил он, щелкая никелированным секундомером.

Первым с тумбочки прыгнул я. Он засекал время. Потом роли поменялись. Ничего не стоило остановить стрелку чуть позже, чтобы победа досталась мне, но такое и в голову не пришло. Его, как впоследствии признался, сразила честность соперника. С того утра в меня и поверил...

Шесть последних университетских семестров все время отдавал журналистике, но на выпуске был среди первых. Дипломную работу «Лев Толстой и Михаил Шолохов» защитил на «отлично». Подоспело распределение. Заведующая кафедрой литературы рекомендовала преподавателем вуза или техникума, на худой конец — в печать. У комиссии таких назначений нет. Замминистра просвещения предлагает место учителя русского языка в молдавской сельской школе. Согласился, хотя строил совсем иные планы...

Тут не обошлось без второго моего друга — Володи Татенко. Мы сблизились в общих комсомольских делах. А жить в общежитии привелось совсем с чуждыми мне людьми. Так было целых два года...

В тот вечер, как обычно, пришел из университета поздно, голодный. Принес с кухни кипятку — там всегда клокотал «титан». Достал из тумбочки припрятанные от себя самого с утра полбуханки арнаута и пятьдесят граммов колбасы. Чай, хлеб с краковской — роскошный ужин! Прихлебывал чаек, наслаждаясь, распарило в тепле после январской кишиневской промозглости. Нет заварки, поллитровая стеклянная банка из-под консервов вместо стакана, сахару вприглядку — какая беда! Но тоскливо в одиночестве...

Почему в нашей комнате не составилось компании? Не мне было ее сколачивать. Я самый бедный и не гождусь в сотрапезники. А другие предпочитали съесть единолично привозимые из деревни продукты. Случалось, просыпался по ночам от энергичного хрумканья. То кто-то уничтожал в темноте немалые припасы, перепавшие ему от отца. Догадываюсь, этим гурманом был нынешний директор крупной молдавской библиотеки.

Итак, я благодушно чаевничал при общем молчании.

— Слышал, что твои натворили? — бросил с койки университетский активист Миша Дарий, царство ему небесное — умер Миша.

Кроткая твоя мама, и она как-то вспомнила, что было в тот вечер, в тот самый вечер за полторы тысячи километров — в Москве. Возилась у газовой плиты на кухне вашей густонаселенной квартиры. Прошествовал сосед — ответственный партийный работник, как громко себя называл, всегда во всем уверенный, не знающий сомнений Петр Иванович. И вдруг вернулся, приглушив голос, спросил:

— Марья Федоровна, что нам с евреями делать?..

Его жена, с которой состоял в браке двадцать лет и родил двух детей, как и твой отец, из-за происхождения оказалась причастна к злодейству, и сосед растерялся.

— А что делать? — ответила скромный бухгалтер. — Жить.

Сразивший меня активист на объединенном историко-филологическом факультете считался крупной фигурой. Каким-то образом он исхитрился вступить кандидатом в партию еще в педучилище после семилетки и теперь занимал руководящие позиции. Занимал их и потом: был оставлен в аспирантуре, преподавал основы марксизма-ленинизма, или научный коммунизм, как это со временем стало называться.

Замечу к слову, что студенты молдаване послевоенной поры находились в привилегированном положении. Республика «ковала национальные кадры». Первый призыв молдавской интеллигенции, эти быстро смекнули, что к чему. Оседали в городах, формируя бюрократию, заполняли вакансии во многочисленных учреждениях. Ждали же от них, что устремятся в родные деревни, горя жаждой просвещения своего народа, который так в нем нуждался. Не было соревновательности, потому ученые, журналистами, писателями становились люди, не

обязательно отмеченные способностями. А ведь генетики доказали, что талантливых в каждом поколении — примерно один и тот же процент. Тут потребность превышала возможности. Культуру заполняла посредственность и впоследствии не пушала по-настоящему даровитых ребят.

— Кто — мой? — спросил я Мишу.

— Еврейские врачи — вот кто!

— Они не еврейские врачи, а классовые враги, — отвечал я, не сбитый с прочной коммунистической платформы.

— Но почему именно евреи оказались нашими классовыми противниками? — подключился другой сосед, четверокурсник (теперь он доктор исторических наук), забыв о том, что у него самого в тридцать седьмом посадили отца.

Что возразить, как защититься? И я не нашел ничего лучше:

— Завтра же пойду в партбюро, расскажу, какие вы партийцы, — пригрозил, едва сдерживая слезы. Кроме Миши членом партии был еще демобилизованный старшина, не снимавший регалий. Подействовало — меня оставили в покое.

А в начале третьего курса я с радостью переселился к дипломникам на свободную койку — к Ване Сеферову, Леве Яруцкому и Мише Плотному. С нами делил комнату еще Коля Кожин, бывший офицер, отсидевший за что-то, — не говорил за что, темнил. Вернувшись с войны, Николай женился. Супруга бросила его сразу после ареста. Не простив предательства, писал мстительную бесконечную пьесу «Ада Подноготная». Прежде Кожин учился в Киевском университете, тоже КГУ, но рангом выше нашего. Из тюрьмы туда возврата не было. Держался Коля особняком. Остальные четверо крепко подружились и дружат до сих пор.

Володя Татенко зачастил к нам на правах земляка Сеферова, мариупольского грека. Ваня с детства хром, тем не менее сохранил добрый нрав, задушевно играет на баяне. Тогда-то мы с Володей окончательно и закорешевали.

Татенко окончил университет по биолого-почвенному факультету и на год раньше меня. Назначение было в Караганду, в областное управление сельского хозяйства, землеустроителем. Мы стали переписываться. Слу-

чилось так, что его сманили корреспондентом в сельхозотдел редакции «Социалистической Караганды». Он удивленно сообщал о своих первых успехах в журналистике, звал к себе — весной и я прощался с альма-матер.

Володя заговорил с ответственным редактором о моем приглашении в Караганду. Тот сказал:

— Вызова твоему другу не пошлю, подъемных не обещаю, придет — приму.

На случай, если потом откажется от этих слов, было вызвано о двух местах в комсомольской газете, договорено и с ее шефом.

Попав на прием к замминистра, предъявил одни Володины письма, попросил отпустить меня с миром на целину.

— В молдавских школах не хватает учителей,— вяло напомнила деятельница просвещения.

— Целина теперь — передний край, не легкого хлеба ишу,— был ответ.

— Ладно, приходите завтра. Я доложу министру. Может, мы вас и отпустим.

На другой день получил такую справку:

«Выпускник Кишиневского государственного университета Сиркес П. С. освобождается от педагогической работы на территории Молдавской ССР».

Оставалось добраться до Караганды.

Ехать решили вдвоем с Лимоновым. Этот мой сокурсник нацелился на комсомольскую газету: диплом ему выдали, ну, а дезертирство с учительского фронта спишет добровольный десант на целинные земли..

Денег для путешествия наскрести не удалось. Последней полуторамесячной стипендии — четырехсот пятидесяти дореформенных рублей — на билет было мало. И вдруг стало известно, что формируется студенческий отряд — убирать большой казахстанский урожай. Обратились к секретарю университетского комитета комсомола.

— Поедете, но надо выпускать в пути эшелонный листок.

Зашел напоследок в «Молодежь Молдавии», где печатался.

— Может, останешься? У нас как раз есть место,— сказал редактор Федор Дмитриевич Рошин.

— Поработаю в Караганде, почувствую себя журналистом — там видно будет..

— Как с гонораром? Тиснул что-нибудь в текущем месяце?

— Госэкзамены сдавал.

Он извлек из стопки номер с разметкой гонорара и написал наискосок на каком-то тассовском материале мою фамилию и против нее — 100 (сто) рублей.

— Это на проводы.

Девять суток тянулся на целину добровольный эшелон. Случались и короткие и долгие стоянки. На долгих всех водили в оборудованные для кормежки новобранцев бараки, наваливали в алюминиевые миски солдатской каши с мясом.

Ночевали мы с Лимоновым в телятнике на устланных сеном нарах, а листок готовили в штабном пассажирском вагоне. На третий день начальник эшелона предложил:

— Переходите, ребята, сюда. Редакция — тоже руководящий состав. — В штабном ехали командиры отрядов кишиневских вузов, врач и медсестра — свободных полк много.

Лист ватмана с поездной оперативной информацией ежедневно появлялся в окне штабного вагона, карикатуры бичевали нарушителей дисциплины. На стоянках сбегались студенты, хохоча оценивали юмор редколлегии. Но мы, кроме того, еще и успевали посылать корреспонденции в «Молодежь Молдавии», Рощину.

Наконец, станция выгрузки — Смирново Северо-Казахстанской области. Здесь отряды были распределены по совхозам.

Попрощались с университетскими. Дальше добираться самим.

Ближайший поезд на Караганду часа через полтора. Билеты — только в «мягкий».

— Пять тысяч километров позади — осталось всего восемьсот. Тряхнем, Лимонов, мощной, — разошелся я, готовый ополовинить свою наличность.

— Раскошелимся!

Чумазые, в прокопченных спортивных костюмах вваливаемся в купе. Единственный пижамный пассажир шархается от нас, прячет вещи под сиденьем.

Находчивый Лимонов достает из чемодана новехонький бостоновый пиджак — костюмную пару справили родители к выпуску, вешает на плечики. Поблескивает вузовский ромбик.

— Молодые специалисты? — приободряется сосед.

— Точно. Следуем к месту службы, — в тон отвечает Лимонов.

Ромбик его успокоил. Достал жареную курицу, прочую снедь. Беспечным акулам пера оставалось лишь слюнки глотать: вагона-ресторана в поезде не было.

Только под вечер, в Кокчетаве, удалось раздобыть банку частика в томате, поздно ночью, в Акмолинске, — буханку черного хлеба. Подхарчившись, уснули до самой Караганды.

Татенко представил меня ответственному Федору Федоровичу Боярскому:

— Вот, прибыл товарищ, о котором говорили...

Боярский нажал кнопку, вызвал секретаршу, попросил пригласить своего зама — Илью Ивановича Колчина.

Сам и зам были полной противоположностью друг другу. Первый — цыганистый, с крупными чертами лица, тронутого оспой, выглядел попом-расстригой. Таких, как второй, справедливо зовут бледной немочью.

— Разберись с парнем — литсотрудником хочет...

Колчин увел меня к себе. Сесть не предложил, вопросы задавал хмурясь:

— Печатался? Где?

— В университетской многотиражке «Сталинец», в газетах «Молодежь Молдавии», «Молдова Социалистэ», «Советская Молдавия».

— Вырезки захватил?

— Захватил.

— А оригиналы? Знаем мы, как в редакциях правят...

Это уж точно — он знал! Его так переписывали литправщики, что ничего своего не оставалось.

К счастью, весь мой нехитрый архив находился при мне — надо же было чем-то наполнить студенческий чемоданишко.

— Принеси вместе с анкетой. И публикации захвати.

На следующее утро все требуемое доставлено.

— Зайдешь через пару-тройку дней.

Минула неделя. Колчин, когда к нему заходил, мямлил, не говорил ни да, ни нет. У меня осталось пятьдесят рублей. Как жить? Не переходить же на иждивение к Татенко или Лимонову, который уже работал в «Комсомольце Караганды»!..

— Далась тебе партийная газета! — говорил Лимонov.— Айда к нам.

Посоветовался с Володей.

— Сходи еще разок к Федор Федоровичу. Скажи, что не можешь больше ждать. Он человек резкий — тут же все решит.

Снова явился к грозному ответственному редактору, изложил все как есть. Зама он опять вызвал с помощью секретарши. Колчин пришел, молча сел справа, за приставной стол.

— Познакомился с парнем?

— Писать умеет.

— Ну, что, возьмем?.. А то он уже приуныл: вдвоем с другом приехал, так тот — неделя, как в «Комсомольце» работает.

— Да ведь тот русский, а этот еврей.

— Ну, что ты, Илья Иванович,— урезонил его мягко Боярский. Неси-ка бумаги — посмотрю и я.

27 июля 1956 года был издан приказ: зачислить Сиркеса П. С. литсотрудником отдела промышленности и транспорта с двухмесячным испытательным сроком.

В войну на нашей Гаражной улице озоровал оголец Колька, по кличке Кулак. Его даже взрослые сторонились.

В то утро я вышел за ворота в начищенных до глянца сапожках. Эти сапожки заказывал еще отец. Нога выросла, теперь сапожки жали, но берег их, холил и ваксил, точно догадывался, что папа ничего мне никогда больше не справит.

Кулак выскочил из-за угла и стал топтать мой блеск своими грязными прохорями. Было и больно, и обидно, да как сладить с таким верзилой?..

— Не бойсь, лупить не буду,— вдруг сменил Кулак гнев на милость.—Ты хоть и еврей, да у тебя мать русская...

Когда после похоронки я стал чистильщиком обуви на привокзальном рынке, Колька иной раз подходил, требовал несколько рублей. Получив дань, говорил:

— Кто тронет, сразу беги к Кольке—в обиду не дам!..

Нравилось мне быть чистильщиком. Старался. Клиенты были довольны. А щедрее всех платили командиры, приезжавшие в отпуск с фронта.

Только недавно приняли в пионеры, потому, наверно, по пояс я голый, а на шее — красный лоскут.

Пожилой грустный капитан ставит на ящик чиненный, но аккуратный сапог.

— Почистим?

— Почистим.

— Сколько стоит?

— Сапоги — десять, ботинки, туфли — пять.

— Послушай, а почему ты в галстук?..

— Я же пионер!

— Отец, конечно, на войне?

— Погиб смертью храбрых 26 июля 1942 года в бою у деревни Кропоткино Ливенского района Орловской области, — повторил я текст извещения.

— Это хорошо, что матери помогаешь. Но галстук на работе не носи. Понял?..

— Понял.

Сапоги уже сияли, как не сияли и новые.

— Вот тебе за усердие, — сказал капитан и протянул красненькую — тридцатку — была такая купюра до сорок седьмого года.

Чего только не насмотрелся, сидя летом с утра до вечера, весной и осенью — в свободное от уроков время за своим ящиком на привокзальном базарчике! Здесь хозйничали инвалиды. Один из них, Костя-морячок, жил тем, что пел песни. Помню, как он закатывая глаза выводил:

— Я встретил его близ Ахтырки родной,  
Когда там была наша рота.  
Он шел впереди — автомат на груди,  
Моряк Черноморского флота.

Мне нравились Костины песни. И он сам нравился — белокурый, с кудрявой прядью. Бескозырки не носил, а форменка на ладном морячке сидела тесно. Костя совсем не походил на инвалида — руки, ноги целы. Говорили: контуженный. У других на груди, с правой стороны — желтые и красные нашивки за тяжелые и легкие ранения, у Кости — синяя, едва заметная на выношенном сукне.

Обычно он незлобив и добр, но на этот раз в него точно бес вселился. И все из-за того, что выпил. Пить ему запрещено. Костя приставал к прохожим, обзывал их нехорошими словами. Особенно не понравился ему один старик, погнался за ним:



— У-у, жид пархатый!

Старик пустился наутек и упал, споткнувшись о трамвайный рельс. Костя несколько раз пнул по стариковской спине, затянул, нарочно картавя, на мотив «Моей красавицы»:

— Старушка не спеша  
Дорожку перешла...

Тут подросла милиция.

Потом мы ходили смотреть, как судят Костю-морячка. Сначала никто не верил, что будут судить — подумаешь, оскорбил старого еврея, ну, малость помял, судачили рыночные торговки. Но когда стало известно, что уже и день назначен, повестки свидетелям разосланы, базар заволновался:

— Глянь-ка, из-за какого-то жида морячка хотят под закон подвести, защитника родины...

— У них — всюду рука. Заметут, сведут счета.

— В тылу околачиваются — для них медаль «За оборону Ташкента» учреждают...

В самом ли деле евреи отсиживались в тылу, правдами и неправдами уклонялись от мобилизации? Взять нашу семью. Папа погиб. На фронте были два маминых брата. Третий, действительно, находился в Ташкенте, учился в военно-политическом училище. Свою смерть принял в сорок четвертом. Об остальной родне мы мало что знали — война разметала.

Помню, дед привел за руку молодого бледного земляка, дубоссарца. Тот только что выписался из госпиталя. Встретились случайно. Звали земляка Хаим-Дувид. Да, он по старинке откликнулся сразу на два имени. Хаим-Дувид был одноклассником Ривы. У него не осталось никого из близких. Вот и прилепился к нам.

Фамилию я запомнил. Можно бы спросить у тетки, но так, под именем Давидовым, судьба эта и типичнее, и символичнее.

Как услышал спустя годы, и двоюродный дядя Аркадий Кацевман, и будущий Ривин муж — Аркадий Сандлер начинали свою армейскую жизнь в точности так же. Вместе с Хаим-Дувидом окончили десятилетку в ту весну, после которой Молотов полюбил сниматься с Риббентропом, а прозорливый Сталин заключил с Гитлером пакт о ненападении.

До сих пор кое-кто твердит: благодаря пакту страна два года выиграла для укрепления обороноспособности. Как это происходило, мы видели у себя дома, на Днестре.

Верхом на лошади отец ездил, когда работал в УНР. Не ведаю, что значила аббревиатура, но занималась папина организация строительством укреплений вдоль старой государственной границы. Даже и сегодня близ Тирасполя и Слободзеи торчат искореженные ДОТы, возведенные отцом.

В сороковом, при молчаливом согласии Гитлера, СССР предъявил румынам ультиматум об эвакуации из Бессарабии не позже, чем через сорок восемь часов. Как ответят на ультиматум, не начнутся ли боевые действия? Никто не сознавал серьезности момента.

Гаубица стояла во дворе, где жила тетя Роза. Молодой артиллерист, командир расчета, улыбался:

— У бояря кишка тонка — куда им с нами тягаться!..

Под защитой пушки и краснозвездных бойцов в самом деле было совсем не страшно.

А утром к Днестру двинулись колонны со знаменами. Сметено ограждение из колючей проволоки на двадцатидвухлетней границе, затоптана вспаханная полоса. Освободители на лодках и вплавь переправлялись на другой берег.

Бессарабия наша. ДОТы, оснащенные по последнему слову техники, что так кропотливо создавались советскими людьми вдоль Днестра, были разоружены. Но на Пруте линии долговременных огневых точек возвести не успели. Куда же девались демонтированные орудия и пулеметы?..

Железобетонные ДОТы еще послужили потом... фашистам: в сорок четвертом войска II Украинского фронта с большими потерями овладевали здесь плацдармами для Ясско-Кишиневской операции.

Когда это еще будет?! Выпускники же дубоссарской средней школы предвоенных годов — первые в местечке еврейские юноши и девушки, окончившие русскую десятилетку, двинулись в большие города, в институты. Аркадий Кацевман поступил в Одесский мукомольный. Когда объявили добровольный комсомольский набор в танковое училище, не долго раздумывал — подался туда. Аркадий Сандлер сразу выбрал артиллерийское. Халим-Дувыду выпал самый тяжкий жребий — пехотное,

значит, быть общеармейским командиром, «ванькой-взводным».

О первых двух речь, может, впереди. Здесь хочу рассказать историю третьего. Училища Хаим-Дувид окончить не успел. Фашисты подошли к Одессе. Курсантов бросили против отборной эсэсовской дивизии.

Делая фильм о войне, я беседовал с десятками людей — от солдата до генерала армии, прошедших через тяжелые сражения. Но ни разу не встретил участника рукопашного боя. Хаим-Дувид ходил в штыковую атаку. Мальчонкой слышал от него, как неокрепшим нашим ребятам пришлось стоять против матерых гитлеровцев. Лицо в рваных шрамах от тесака, говорит, с трудом размыкая изуродованные челюсти:

— Ничего страшнее не бывает...

У нас с Хаим-Дувидом дружба. Я чистил ему сапоги. В пенсию он баловал меня гостинцами.

Поздней осенью открылась рана в легком — снова пришлось лечь в госпиталь. Там он и умер. Мы с дедом похоронили Хаим-Дувид на русском кладбище. Дед, не веря, что доживет до Победы, наказывал запомнить могилу, чтобы показать ее, если объявится кто из семьи. Никто не объявился — все погибли в Дубоссарах.

Недавно узнал: в войсках антигитлеровской коалиции сражалось более миллиона евреев, около пятисот тысяч из них — в Красной Армии. Сто семьдесят тысяч воевавших на Восточном фронте евреев награждены орденами и медалями, сто тридцать три удостоены звания Героя Советского Союза, сто пятьдесят стали генералами. Откуда же легенды об окопавшихся в Ташкенте, правда ли, что среди тыловиков было много евреев? Может, намозолили глаза бессарабцы, пока их брали только в трудармию? Или польские евреи, что обитали в Западной Украине и Западной Белоруссии, и те, кому удалось к нам прорваться из оккупированной Польши? До организации дивизии имени Костюшко в женской базарной толпе, разбавленной инвалидами, мужики-иностранцы, действительно, были заметны.

...Наступил день суда над Костей-морячком. Маленький зал не мог вместить желающих поддержать обвиняемого. Милиционеры сдерживали натиск толпы. Рискуя, что задавят, я все-таки протиснулся, влез на подоконник.

С улицы и из зала доносились возбужденные возгласы:

— Ишь, нагнали милиции!

— Погрома бояться...

— Инвалиды своего в обиду не дадут!

— С евреями связываться — греха не оберешься...

— Встать! Суд идет! — Слова секретаря покрыли настороженный гул. Председательствующий и заседатели требовательно глядели на публику.

Конвоиры ввели Костю. Он был стрижен под нулевку и походил на великовозрастного запаршивевшего детдомовца.

Вызывали свидетелей. Те показывали: да, видели, сидящий на скамье подсудимых гражданин несколько раз пнул пострадавшего правой ногой... Самого старика в зале не было. Его уже и на белом свете не было — не выдержал экзекуции.

— Покуражился фронтовик, силушки не рассчитал... — сказал кто-то громко.

— И так бы сдох, — ответили ему.

Председательствующий тряхнул колокольцем, потребовал тишины.

Потом выступил представитель военкомата. Он заявил, что подсудимый на фронте не был, его инвалидность, якобы вследствие контузии, документально не подтверждается. К злостному хулиганству прибавлялось дезертирство, мошенничество, незаконное присвоение прав инвалида войны. Особо прокурор выдвинул обвинение в антисемитизме — была в советском уголовном кодексе такая статья. Поскольку подсудимый совершил и воинское преступление, было решено передать дело военному трибуналу.

Нас сотни тысяч, крови не жалея,  
Прошли бои, достойные легенд,  
Чтоб после слышать: «Это те евреи,  
Которые в тылу сражались за Ташкент...»

Ходившие в списках и приписываемые Эренбургу эти немудрящие стихи считались ответом на послевоенную поэму Алигер «Твоя победа».

Приятель из рыбницкого детства — Фридик рассказывал, как пытался встретиться с Маргаритой Иосифовной, как в телефонном разговоре с ней упомянул о поэме, надеясь в личном общении разрешить свои еврейские проблемы. Алигер отказала ему. Возможно, при-

няла неуклюжего Фридика за провокатора. Ведь тогда «Твоя победа» была признана официозной критикой идейно порочной и националистической.

Дни стояли серые, косые,  
Непогода улицы мела,  
родилась я осенью в России,  
и меня Россия приняла.  
Напоила непокорной кровью —  
водами степного родника,  
обожгла недоброю любовью  
русского шального мужика.

Отвечайте мне во имя чести  
племени, проклятого в веках,  
юноши, пропавшие без вести,  
мальчики, погибшие в боях,  
вековечный запах униженья,  
причитанья матерей и жен.  
В смертных лагерях уничтоженья  
наш народ растерзан и сожжен...\*

К нам в Тирасполь фрагмент поэмы попал в конце сороковых годов. Его размножали от руки, читали девочкам на свиданьях. В Виннице, знаю со слов другого приятеля, сакраментальные строки поэмы звучали даже на заседании школьного литкружка. Что за этим последовало, о том позже.

У Эренбурга нет стихов про Ташкент, но есть такие в книге «Дерево»:

За то, что зной полуденной Эсфири,  
Как горечь померанца, как мечту,  
Мы сохранили и в холодном мире,  
Где птицы застывают на лету,  
За то, что нами говорит тревога,  
За то, что с нами водится луна,  
За то, что есть петлстая дорога  
И что слеза не в меру солона,  
Что наших девушек отличен голос,  
Слова не те, и выговор не тот,  
Нас больше нет. Остался только холод.  
Трава кусается. И камень жжет.

Потому-то, наверно, молва и присвоила Илье Григорьевичу ответ Алигер. В провинциальном Кишиневе соплеменники горячо восприняли и его выступление по радио в день семидесятилетия:

— Я еврей и останусь им, пока на земле существует хотя бы один антисемит.

---

\* Привожу, как запомнилось.

А как часто именитые евреи отрешаются от национальных корней, игнорируя то, что происхождение и судьба схвачены причинно-следственной связью! Уж не опасаются ли, вконец обрусев, подозрений в неистребимой еврейской заскорузлости?.. И прорыв к общечеловеческому кажется возможен лишь ценой отказа от своего, народного.

Впрочем, не так ли было и с «немцами» — Марксом, Гейне, Берне?..

Твой дядя Витя вспоминал, что ему и брату мама запрещала говорить на идиш. Боялась, не испортили бы сыновья себе русскую речь — не возьмут в гимназию, не примут в университет. В императорский университет еврею было нелегко попасть. Вот если креститься... Крещение она отвергала. Не из-за приверженности вере праотцов: претило отступничество. Племянника, перешедшего в православие, отлучила от дома.

Российское произношение братьев было отменным и в старости, хотя младший смолоду мотался по заграницам. Старший, будущий тесть, обретался в Москве, но в недолгие дни моего жениховства, почему-то счел необходимым вставлять в разговоры со мной, выходцем из местечка, отдельные еврейские выражения, усвоенные в детстве, будто устанавливал между нами некую общность, которую вскоре предстояло скрепить родственными узами. Вместе с тем, однажды он едва ли не гордо заявил, что всегда не любил еврейской кухни и еврейских женщин — в такой последовательности. Гастрономический вкус — бог с ним! Но еврейской женщиной была и родная мать. Что это — Эдипов комплекс навыворот?..

И все произошло в течение жизни одного только поколения.

Когда в октябре сорок первого мы, наконец, осели в Алма-Ате, прервав бегство с берегов Днестра, начавшееся еще в июле, первое пристанище нашли в домовладении Домны Павловны на одиннадцатой линии. Нашли не сразу...

По расчетам мама должна была разродиться в конце августа. Страх, что попадем к немцам, видимо, поборол естество. И вот теперь влеклась вдоль прямой улицы, точно названной линией, выкатив вперед тяжелый живот, — просилась на постой. Я и Мара тянулись следом.

— Эвакуированные мы,— объясняла мама крепконогом семиреченским казачкам, унимавшим потревоженных собак.

— Самим тесно,— отказывали хозяйки.

У Домны Павловны сердце дрогнуло. А ночью маму увезли в роддом.

С утра Домна Павловна искала в голове у дочки, раздвигая пряди волос кухонным ножом, потом тем же ножом принялась шинковать капусту. В кухню заглянула бабушка.

— Вы кто такие? — спросила наша благодетельница.

— Какие — такие?

Балаболите не по-русски...

— Мы евреи,— с достоинством сказала бабушка.

— Жиды, значит. Где же ваши рога? Слышала, у жидов рога...

Дед и в Алма-Ате надумал строить — приглядел свободное место на улице Гаражной, слепил глинобитную мазанку — кибитку на казахский манер. И через месяц мы уже съезжали от Домны Павловны. Та выставила на прощанье миску квашенной капусты. Бабушка вежливо поблагодарила, но от угощения отказалась.

В новом дворе всем командовала домоуправ Денисова. Прибывали эвакуированные. Без согласия домоуправши не пропишешься. Чтоб задобрить, люди дарили ей кто сберегаемый на черный день отрез материи, кто последние довоенные туфли.

† Однажды Денисову обокрали. Она выскочила из сеней, ругаясь и трясая вещественными доказательствами — замком с подпиленными штифтами и четырехгранным напильником, забытым впопыхах вором.

— Уркаганы, тра-та-та! — орала Денисова, расцветившая ругань непревзойденной русской матерщиной. — Понаехали, голь перекатная, жиды проклятые, тра-та-та!

— Да ведь это Васька,— шепнул я деду, который от греха подальше затаскивал меня в землянку.

— Цыц! Ты откуда знаешь?

— Его напильник, Васькин. Видел у него.

— Ничего ты не видел! Понял?..

Никому не говорил о своей догадке, только Васькина сестра Райка, моя ровесница, будто чувствовала, что знаю, кто вор. Она дразнила меня, нарывалась на драку.

— У-у, жид! — кричала Райка и убегала домой со двора.

Не удержался, бросил вдогонку гладкий обкатанный голыш. Пока летел, я напрягся, точно внутренним усилием можно изменить траекторию. Поздно, не промахнулся. Райка заревела, схватившись за голову.

Дед всыпал мне по первое число, приговаривая:

— Никому не спускай, когда тебя оскорбляют! Никому!

Уже в Тирасполе, когда я учился в пятом классе, у нас случилось ЧП: Володька Брестюк обозвал жидом Леньку Каминкера. Тот отколошматил обидчика. Брестюк пожаловался директору.

Михаил Петрович Чернобривченко горел в танке, из-за ожогов казался невероятно строгим:

— За что ты его?

— Пусть сам скажет,— ответил Ленька.

— Я повторю, а ты опять врежешь,— осторожничал Брестюк.

— Теперь понятно, Михаил Петрович? — спросил Каминкер.

— Это, конечно, не метод... Чтоб подобного в нашей школе не было больше,— сказал директор и отпустил обоих.

В тираспольской школе такого впоследствии не бывало, может потому, что среди учеников много водилось евреев и они себя в обиду не давали. Но, наверно, и учителя во главе с Михаилом Петровичем этому способствовали.

Жаль только, что простой расклад школьной поры редко сопутствует нам в зрелые годы. После Райки ни разу не слышал «жида» в свой адрес: кому не известно, что я еврей, тот не догадывается, а кто знает, не отважится сказать и в злобе. Вот безотносительно — в рассказе ли, в анекдоте оскорбительное словцо стерпеть доводилось. Клянусь себя за то, да как прикажешь поступить в такой, к примеру, ситуации?

Мы снимаем картину на Центральной студии документальных фильмов. Кинооператор жалуется мне, что бывший сокурсник зачитал у него книгу:

— В Израиль жидяра увез!

— Может, тебя в Москве не было, когда он уезжал? Оставил, наверно, кому-нибудь, еще передадут...



— Как же, передадут!.. Держи карман шире! Ну, ничего, пусть едут, собираются до кучи. Легче будет кончить со всеми одной атомной бомбой!

Каюсь, не дал ему в морду. Я, к стыду моему, даже не нашел в себе твердости, чтобы не подавать ему руки.

Директор нашей съемочной группы любил поговорить о судьбе России.

— Царя-батюшку расстреляли, церкви порушили, культуру испоганили... Вспомни,— призывал он меня,— кто кашу заваривал. Им ли было жалеть наше кровное — троцким, зиновьевым, каменевым?..

— Вот и отпустили бы тех, кто хочет в Израиль...

— Раньше и я так думал. Но на «Тайном и явном» был у нас неофициальный консультант,— фамилии не назову — фигура, генерал КГБ,— так он меня просветил: зачем, говорит, их отпускать, ведь они наши потенциальные враги? Лучше — придет час — здесь перестреляем! Мудро?..

Этот директор — антисемит, так сказать, идейный.

Знал интеллигента, сына генерала медицинской службы, который стал антисемитом, не влюбив отчима жены, внучатого племянника поэта Константина Бальмонта. Почему-то он не сомневался, что родство с Константином Дмитриевичем изобличает еврейское происхождение: придуманное еврейство помогло объяснить изъяны некровного тестя. Испортились и с женой отношения — ушла к сослуживцу: который, как на грех, оказался евреем. Ну, как не превратиться в убежденного юдофоба?..

Сотрудник в женском журнале покойный Сергей Семенович Кухаренко возненавидел евреев из зависти. Не столь давно он работал корреспондентом ТАСС в Мексике, но, злоупотребляя текилой, местной дешевой разновидностью водки, не удержался на заграничной службе. К нам попал, точно в ссылку.

— Еврей никогда не сопьется,— откровенничал со мной Сергей Семенович.— Хитрое племя... Об одном жалею, что помешали Гитлеру в окончательном решении еврейского вопроса.

Причины у каждого свои, а вариантов не счесть.

Между тем, Денисова пустила к себе квартиранта. Это был средних лет инвалид, только что из госпиталя. Во дворе поговаривали, что он хахаль Денисовой.

Видимо, неловко ему было перед соседями.

— Ничего не поделаешь, жизнь берет свое,— на еврейско-белорусском диалекте оправдывался он перед дедушкой.— Когда я узнал, что жена и детки не успели эвакуироваться, совсем потерял голову. Через то меня и ранило...

— Жить надо,— соглашался дед.

Инвалид оказался искусным сапожником, доставал где-то кожу, шил на продажу сапоги. Стоили они тогда не меньше трех тысяч.

— Богач!.. И такой человек попал в лапы этой хулиганки Денисовой! — вздыхала бабушка, горюя о двух вдовых дочерях и третьей — девушке на выданье.

Сапожник исчез так же неожиданно, как и появился. Почти одновременно пропала и собака Денисихи. И тут же домоуправшу обокрали во второй раз. Новые воры действовали в точности, как Васька, будто он их и научил из тюрюги: под дверью опять валялся распиленный замок. Кроме вещей хозяйки похитители утащили и все пожитки отсутствующего квартиранта.

Трюк с замком не остался незамеченным.

— Вернется богач, а барахлишка его нет,— говорил дед.

Вскоре во двор нагрянула милиция с ищейкой. Принюхавшись в сенцах, собака потянула в денисовский подпол, где и были обнаружены присыпанный землей трупик хозяйкиной Жучки, а рядом — останки сапожника.

Зачем Денисова порешила квартиранта, с которым жила как с мужем? Он зарабатывал много, отдавал все деньги. На суде выяснили, что и припрятывал кое-что на случай, если отыщется семья. Из-за этих-то сбережений его и убила Денисова. А чем виновата бедная Жучка? Выла по ночам, не давала спать — пришлось и ее.

Денисова созналась в совершенном преступлении, надеясь на снисхождение судей: ведь не человека пристукнула — еврея. Так и сказала в заключительном слове. Получила десять лет.

Война обострила национальные противоречия. Не действовала ли фашистская пропаганда? И именно с того времени это чувство — ты неугоден чем-то. И выработывалась мимикрия, готовность не выдать себя, и жалкая радость, что, к счастью, ты светлорус, нос без горбинки, глаза серы. И если не очень пялиться на ок-

ружающих и спрятать предательскую грусть во взоре, никто не признает. И говор переимчив, и подевалась куда-то южная тягучесть речи, и сами собой выскакивают казацкие присловья.

Мы вернулись в Тирасполь 26 ноября 1944 года. Дом, где жили до войны, сожгли при отступлении немецкие факельщики — чернел обгоревший остов. Дедова же недвижимость, купленная в сороковом на деньги от продажи последнего самолично выстроенного дубосарского особняка — с инициалами на дверях, стояла целехонька. В ней квартировали солдаты городской комендатуры. Сарай же пустовал. Там нам приткнуться разрешили. Одиннадцать душ — пятеро детей и шесть человек взрослых — поселились в захламленном неотопливаемом помещении, хотя по утрам уже случались заморозки.

Мама была тогда молодая и, как говорила бабушка, умела отпирать запоры. Управу на бессердечного коменданта она нашла в лице генерала, начальника гарнизона. Дедов дом освободили от постояльцев.

Спали на полу, едва прикрыв тряпьем выщербленные доски, вповалку, потому что ни кроватей, ни другой мебели не сохранилось. Ночью раздался стук с парадного крыльца.

— Открывай, проверка!

— Какая проверка? Вы кто? — спросил дед сдавленным голосом.

— Комендатура!

Оснований для дедова страха было достаточно. С наступлением темноты, говорили, шалит «Черная кошка». А называется банда так потому, что будит обывателей нестерпимыми кошачьими воплями.

Страхов хватало и днем: то затеют драку со стрельбой и сабельной рубкой проходящие через город донские казаки и матросы Дунайской военной флотилии, то кто-нибудь выпустит вдоль улицы автоматную очередь трассирующими просто так, по бродячим псам.

Проехали полстраны, чтоб попасть на родину, именно на родину, близился конец войны. Не довольно ли опасностей?!

В Алма-Ате бабушка причитала:

— За что, Господи, ты забросил моих детей на край земли?.. Дай им вернуться. И мне с ними. Поцелую родные камни — согласна умереть.

Однажды бабушка, перебрав бобы для супа, сказала:

— Запомните, дети, было такое время, когда фасоль стоила пятнадцать копеек...

Я не забыл этих бабушкиных слов и алмаатинские ее обещания помнил. И, слыша жалобы на тираспольские напасти, жестокосердно говорил:

— Не видел, чтоб ты целовала камни, значит, бог не позволит тебе умереть...

Жизнь была беспокойная, но на удивление сытая. А, может, так казалось, потому что не переводилась мамалыга, о которой мечтали три с лишним года. Бабушка вываливала ее из огромного казана прямо на выскобленный добела стол. Ели с брынзой и маслом, с чесноком и молоком, с черносливовым взваром и иногда даже с мясной подливкой. Рынок поражал изобилием: ведь только что молдавская земля вынесла оккупацию, волну отката сначала румын, потом немцев и мощный вал советского наступления.

Когда ехали сюда, уже на Украине к поезду выходили бабы с жареными курами, с кринками ряженки и глечиками сливочного масла. Любой продукт можно было получить лишь в обмен на соль. Мы, к счастью, по чьему-то совету запаслись ею у Эльтона и Баскунчака.

На тираспольском богатом базаре все было намного дешевле, чем в Алма-Ате. Это вначале. Но еще не успели подкормиться, как точно Мамай прошел по рыночным рядам. Торговля кончилась. В левобережной Молдавии восстановили колхозы. Обобранные крестьянские дворы, оставшиеся к тому же без мужской рабочей силы, мало что могли дать городу.

Потом коллективизация перекинулась и на Бессарабию, ее очистили от кулаков, то есть крепких, толковых хозяев. После засухи сорок седьмого года, а закрома выгребли до донышка, голодной смертью умерло больше двадцати тысяч человек.

Это был второй голод на коротком моем веку. Первого не помню: мама еще не отлучила меня от груди. Он тоже почему-то совпал с колхозами.

Дом деда в Тирасполе находился рядом с пристанью. Речной вокзал заняли под дистрофическую больницу.

В городе учредили и особые столовые. Их тоже именовали дистрофическими. Раз в день там можно было получить миску супца с рыбьими глазами. Давали по справке, что ты признан врачом дистрофиком. И долго еще у ребят, у тех, кто выжил, конечно, было в ходу обидное слово «дистрофик».

Я пытался расколоть пень на задворье и вдруг услышал за изгородью странные звуки. Прильнул к щели. Из больничного погреба выносили голых мертвецов и бросали в кузов грузовика. Мерзлые тела гулко ударялись о деревянное днище.

...Дед, трясясь от страха, все еще стоит за дверью парадного.

— Открывайте немедленно!

Чего они ищут в мирном спящем доме далеко от линии фронта?.. Филенки трещали под ударами прикладов.

Дедушка отодвинул засов. Из темноты шагнуло несколько фигур в плащпалатках. Луч фонарика скользнул по углам, на миг ослепил.

Должно быть, мы являли жалкое зрелище, кое-как прикрытые тряпьем на щербатом полу. Ночные гости ушли. Среди них был и комендант. Ушли, громыхая сапожищами.

Уже наступил сорок пятый, когда куда-то запропали и щеголеватый капитан, возглавлявший комендатуру, и его блондинистая жена, которая прогуливала по центральной улице дымчатого трофейного дога. Исчезновение совпало с прекращением налетов «Черной кошки». И потому, наверно, по городу прокатился слух, что в банде верховодил комендант.

Мама повела меня в школу — записываться в четвертый класс. Директор сказал:

— Принесете стул, приму.

Возвращались мы невесело. По дороге встретился пожилой солдат.

— Отчего пригорюнились?..

— Да вот, без стула в школу сына не берут, — ответила мама.

— Пойдем со мной, парень, — сказал солдат.

Он велел подождать его у казармы и скоро вынес добротную табуретку на круглых ножках и с прорезью в сиденье, чтоб по-немецки удобно было переставлять. Проблема моего дальнейшего образования была решена.

Учительница четвертого класса, сухощавая и стро-

гая, оказалась по специальности математичкой. На уроках в основном занимались решением арифметических задачек.

Неожиданно учительницу убрали. Не стало и директора. Оказалось, они работали в школе и при румынах. Обоих выслали в Сибирь, как тогда говорили, за сотрудничество с оккупантами.

Однажды я повстречался на улице с довоенным дворовым дружком. Рассказал маме. Она надумала сходить к бывшим соседям, расспросить, не знают ли, куда подевалось наше добро. Дом, где мы жили, ведь стоял цел-невредим до вражеского отступления — факельщики подожгли его напоследок.

Теперь семья моего дружка занимала особняк, владельцы которого убежали с фашистами. Дальше кухни маму не пустили. Нет, не до чужого было, дай бог, свое уберечь... И не видела, кто забрался в брошенную квартиру? Воры орудуют по ночам, а в темноте — как их разглядишь!..

Мама, ступив через порог, сразу узнала кухонный шкаф. Его, правда, перекрасили из белого в коричневый, но, несомненно, это был сделанный отцом (не забыл уроков тестя!) шкаф — такого и не купишь нигде.

— Да вот, кажется, и у вас стоит моя вещь? — сказала мама.

— Простите, Анечка, нечистый попутал. Уж мы к вам попали, когда все растащили... Шкаф да перина остались. — Она ушла в комнаты и принесла в охапке пышную пуховину — мамино приданое. Так к нам вернулась часть нашей собственности.

После войны по Тирасполю ходила комиссия, составляла списки утраченного имущества, оценивала его. Мама насчитала на восемьдесят тысяч. Ей вручили копию иска.

— Ждите, со временем разбогатеете.

Этот иск долго хранился у мамы вместе с квитанцией на сданный чуть ли не в первый день войны приемник 6Н1 — папину премию за успехи завода. Потом, видя в кино, как французы или англичане слушают по радио сообщения с театра военных действий, я недоумевал: откуда аппараты? Не заботятся западные правительства о душевном покое своих граждан...

Весна в тот год наступила торопливая, дружная.

Мигом все зазеленело, точно листья были вложены в почки готовенькими.

Мы любили играть в футбол. Играли прямо на мостовой: на нашей улице, которая впадала как бы в Днестр, машины проезжали редко. Гоняли часами. А вывернет откуда автомобиль, хватать мяч — и на тротуар. Берегли свою забаву и, как индусы, гоняли босиком, хотя брусчатка — не трава под ногами.

Старшина спускался сверху, из центра. Шел, заплетаясь, видно, здорово налакался, но вдруг выскочил на дорогу, отнял нашу кожаную драгоценность.

— Товарищ старшина, отдайте, у нас нет другого!

Пьяный не обращал внимания на просьбы.

Дядя одного из футболистов сидел на лавочке у дома, наблюдал за ходом бесконечного матча. Ветеран гражданской и старый партиец, он не мог не вступить за мальчишек.

— Старшина, и не стыдно тебе обижать пацанов?

— Не встревай, жидовская морда! — отрезал военный.

— Ах ты, бандит! — крикнул дядя, вскакивая с лавочки и размахивая тростью.

Тут старшина выхватил из кобуры ТТ и, не целясь, выстрелил.

То, что произошло дальше, запечатлено в моей памяти точно снятое рапидом: застывший, с раскрытым ртом дядя, ребята, вязнувшие в загустевшем летнем воздухе, и опадающая наземь женщина. Она даже вскрикнуть не успела — пуля попала в сердце.

Так в первый раз у меня на глазах убили человека. Женщина была беременна — убили двоих.

Возможно, старшина не думал стрелять — хотел только припугнуть нашего заступника, но подвел предохранитель. Не сразу сообразил, что случилось. А когда дошло, кинулся убежать. Он убегал дворами.

Подоспел комендантский патруль и перерезал ему путь. Заломили руки, связали за спиной ремнем и повели старшину в кутузку, избивая по дороге. Почему так остервенело? Он был свой. Солдаты сводили с ним счеты.

Русский — единственный мой грамотный язык. Потому и пишу на нем.

Когда умирал,  
— Мама! — позвал я по-русски.  
А ведь слово похоже звучит  
На всех языках, которые знаю.

Я и думаю по-русски. Значит ли, что думаю, как русский?.. Речь не о складе ума. Мне кажется, обрушившим представителям других народов все-таки открыто и что-то свое, особенное. Примеры? Фазиль Искандер или Олжас Сулейменов, их творчество.

Но русская самобытность — постижима ли она теми, кто прилепился к российской почве? Не остается ли непреодолимым некий психологический барьер?

Давно известно, что инородцы, как их прежде называли, изучившие русский язык, говорят на нем правильнее, чем природные русские люди. Тут само напрашивается обвинение в обезьянней склонности усваивать чужое, в книжности, неорганичности, искусственности.

А евреев еще корят: ну, зачем встреваете, бросили родную землю, потому и утратили подлинно национальную жизнь и путаетесь в ногах у других.

Да, мы рассеяны по белу свету, но разве не было борьбы Маккавеев, подвига Мосады, восстания Бар-Кохбы? Наша вина, что сумели уцелеть в потоке времени. Из народов-ровесников кто еще жив сегодня? Разве ассирийцы, айсоры — московские чистильщики обуви? Что верно, то верно: мы себя не ограждали от влияний, ассимилировались, как никто, готовно и до конца.

Бабушка Сима вот уже два года внушала маме:

— Пора пристроить парня к делу. В старое время вдова с тремя детьми, будь дом у нее хоть под золотой крышей, отдавала всех учиться ремеслу. Пусть идет в сапожники. А еще лучше — в заготовщики. У тех заработки лучше.

Мама меня жалела.

— Маленький он, вот окончит семилетку...

Наконец, свидетельство о завершении неполного среднего образования получено. Сплошь пятерки. Мама, ничего мне не сказав, отправилась с ним в Кишинев. Сам того не ведая, я стал студентом строительно-энергетического техникума.

Перед первым сентября мы долго говорили с мамой о моем будущем. Согласился: надо ехать. На пропитание выдано было пятьдесят рублей.



— Стипендию обещали числа десятого — сто сорок. Продержись, сынок...

Большинство на курсе составляли демобилизованные, прошедшие войну солдаты, сержанты, офицеры. Таких, как я, малолеток было немного. Общежитие располагалось тут же, в здании техникума. После занятий обитатели нашей комнаты, а было нас человек двенадцать, сотворив во дворе очаг из двух котельцов, варили суп в оцинкованном ведре. Отужинав, садились за уроки.

Недавние войны позабыли математику, физику и все прочее, я же шелкал задачи легко, охотно объяснял решения. Благодарные товарищи избрали меня заместителем старосты курса.

Деньги вышли, а стипендии не было. Не помирать же с голоду — в субботу подался в Тирасполь. Поезда осаждали безбилетники. Кондукторы шугали нас из тамбуров, гнали с подножек. Не давали «зайцам» спуску и контролеры. Мы взбирались на крыши вагонов по узким железным лестницам, бегали вдоль составов. Мне укрыться от погони удалось в паровозном тендере. Здесь, на угле, и доехал до Бендер. Оставшиеся восемь километров прошел пешком. В третьем часу ночи измотанный, отошавший, присыпанный черной пылью, я постучался в родительский дом.

Мама заплакала, метнулась к печке — разогреть чайник. Она будто чувствовала, что нагряду в конце недели, что-то оторвала от себя, от дочек — мне на ужин.

Отоспавшись, собрался в магазин канцелярских принадлежностей — купить карандашей, чертежных перьев, как требовал преподаватель, служивший при румынах в гимназии. Он был строг, этот преподаватель. На центральной улице 25 Октября, до сих пор по старинке называемой горожанами ее дореволюционным именем — Покровская, встретил завуча нашей первой мужской школы Зиновия Марковича Каменира.

Зиновий Маркович читал историю. Он появился у нас в сорок пятом в кителе из английского хаки, какие носили тогда советские офицеры, с двумя рядами орденских планок над левым карманом. Тщедушный Зиновий Маркович всю войну был политработником и, должно быть, на фронте обнаружил свою храбрость — ордена были боевые.

Ученики любили Зиновия Марковича за справедли-

вость и добрый нрав. Преподавал интересно, хотя слабó было ему, с отрочества захваченному пропагандой общественного переустройства, окончившему захудалый провинциальный пединститут, подняться до неортодоксальных взглядов. В окопах кое-что понял, наверно. Нас берег — ничего не говорил сверх дозволенного...

В последний раз видел Зиновия Марковича в начале семидесятых. Он недавно похоронил жену, болел. Поцеловал меня, уколов многодневной щетиной. От него пахло неопрятной старостью.

Посидели, перебирая блажные послевоенные годы.

— Сходим в школу,—предложил Зиновий Маркович.

Перешли через улицу, поднялись на второй этаж. Завуч отпер классную комнату, где был наш десятый, просеменил к парте, за которой я некогда сидел.

— Не забыл?..

В коридоре пожилой учитель вешал диаграммы на стены.

— Наш питомец,— гордо представил меня Зиновий Маркович.

Учитель приветливо улыбнулся, всмотрелся.

— Нет, не знаю. Я ведь пришел через год после выпуска Павлика Сиркиса.

В каждом, даже очень маленьком городе, да что там! — в любом селе, где есть школа, есть и свой Павлик...

А тогда, встретившись на Покровской, мы поговорили немного о техникуме.

— Мама дома? — почему-то спросил завуч.

— Дома.

— Пойдем к вам.

Маму удивил приход завуча.

— Анна Наумовна,— начал он с порога,— и учителя, и ученики очень жалеют, что вы взяли Павлика из восьмого класса.— Звук «в» он брал с разбега: «ывзяли».

— В техникуме стипендия, через четыре года — специальность.

— Техникума он не закончит — заберут в армию после третьего курса. А стипендия... Обещаю: мы найдем ему работу рублей на двести в месяц.

— Спасибо, Зиновий Маркович! — просияла мама.

В понедельник я объявил в техникуме, что бросаю учебу.

Завуч сдержал слово. По его совету, меня пригласили репетитором родители упитанных близнецов-пятиклашек.

Занятия в школе начинались в полдень, поэтому к состоятельным братьям приходил с утра. Их мамаша кормила нас завтраком. Затем под моим наблюдением лентяи готовили уроки. Платили две сотни.

Так, перемогаясь то репетиторством, то рисуя наглядные пособия, а летом состоя воспитателем в пионерском лагере, и дотянул до аттестата зрелости.

Двадцать пятую годовщину окончания школы отмечали в мае семьдесят шестого. В Тирасполь приехали почти все, кто был тогда жив и кого удалось оповестить. Сходились к своей первой средней выдавшие виды мужчины. Многих я не встречал со дня выпуска.

— Это ты?..

— Бресь и сам не узнаю свое отражение...

— Ну и пузо!

— Не пузо, а комок нервов, панымаешь!

— Где твой чуб, дружище?

— Волос, он и на срамных местах растет...

— Глянь, у Шкета медаль «За трудовое отличие»!

— Стараюсь.

Из учителей наших никого не осталось — вышли на пенсию, умерли.

— Ты... вы... Павлик Сиркис? — обратилась ко мне немолодая полная женщина. Я узнал ее сразу — Валентину Игнатьевну, школьного военрука из сорок четвертого года. Тогда ей, недавнему санинструктору, юной и красивой, но ужаленной свинцом, пришлось заниматься с нами, мальчишками, изучением русской трехлинейки и строевой, потому что не нашли демобилизованного по ранению мужчины. Валентина Игнатьевна заохала, вспоминая, как мы с ней прочесывали карьер — искали старосту нашего класса Володю Бабичева. Он лежал далеко от воронки без рук и ног, в запекшейся крови.

Тираспольский карьер, где до войны добывали песок, после отступления фашистов превратился в пацаний арсенал. Трофейные команды свезли туда брошенные оккупантами оружие и боеприпасы, а охраны не поставили. Вот мы и таскали из карьера гранаты и мины, винтовки и патроны. Мудрено ли, что среди нас были безрукие и беспальные, одноглазые и в рубцах от ожо-

гов. И это казалось обычным: ведь еще продолжалась война.

А еще через год, помню, мы глушили рыбу в Днестре. Вставляли запалы с бикфордовым шнуром в противотанковые взрывные устройства, опускали их на глубину, швыряли лимонки в заводях, чтобы потом нанизывать на кукан всплывших кверху брюхом карпов и маринков.

В то лето, лето Победы, обнаружили на дне реки баржу, груженую снарядами. Она затонула, наверно, в сорок первом. Нырjali, доставали фугасы, вывинчивали с помощью скобы сырые детонаторы, извлекали фосфор. Порох для просушки спрятали на чердаке: его, как известно, надо держать сухим...

Когда он совсем просох, мы решили устроить салют. Поджигал товарищ. Мне досталось бросать в поднебесье туго набитые шелковые мешочки.

Открыл глаза после яркой вспышки. Мои руки были пусты и черны. Товарищ плакал.

— Умывай лицо! — крикнула подоспевшая соседка и плеснула на меня простоквашей из глечика. Я потерял сознание.

Очнулся дома — лежу на кровати. Мама подводила набежавших родных и знакомых, спрашивала:

— Кто это?.. Скажи, кто это...

Пересиливая боль, размыкал обгоревшие веки, угадывал. Но мама не верила, что я вижу.

Вернемся, однако, к нашему юбилею и к Валентине Игнатьевне. Она вспоминала:

— И всегда-то вы что-то находили на свои головы!.. А ты был высоконожкий; худенький — одни глаза...

Узнали адреса еще живых учителей и разъехались приглашать их на встречу.

В шесть вечера все были в сборе. Мы, выпускники 1951-го, волновались за столами для акселератов, — в наше-то время были парты. Педагоги сидели перед нами как бы в президиуме. Встала Валентина Игнатьевна, посмотрела на нас сквозь слезы.

— Дорогие ребята, сегодняшний урок был вам задан четверть века назад... Пусть первым выйдет к доске... Павлик, иди ты...

Я вышел, пытался что-то сказать и не мог. Заедало, рвалось, заклинивало звуковую дорожку, как иногда бывает на монтажном столе, когда пускают пленку с

предельной скоростью. Потом все-таки справился с собой, заговорил об иллюзиях юности, обманутых надеждах, благодарил.

Поздно ночью на набережной, после банкета, рядом со мной оказался один из моих доброжелателей.

— Не хотелось бы тебя огорчать... Короче, Левка Дронин сказал, что ты сионист.

Назавтра по программе отправились с утра на другой берег Днестра, в лес, куда не раз бегали с уроков в школьные годы. Лес под боком у города — самая симпатичная достопримечательность Тирасполя.

Был пикник на лоне природы, возлияния, клятвы в вечной дружбе и любви, слезы сожаления о молодости, которая пронеслась, — все было. На обратном пути нас с Дрониным прибило друг к другу в беспорядочной мужской гульбе.

— Послушай, Левка! Мне передали, что ты назвал меня сионистом. На каком основании?

— Да, назвал. И в глаза повторю. Такой человек, как ты, не может не быть сионистом!

— Чего же медлишь — напиши донос...

— И написал бы, да время сейчас не то.

— Дать бы тебе по роже...

— Не стоит, Пашка. Подеремся — праздник испортим. Еще встретимся... по разные стороны фронта, еще стрелять друг в друга будем.

Вот какой получился разговор с Дрониным.

Дронин появился у нас, когда мы были уже в седьмом классе. Приехал с родителями откуда-то из России и сразу же доказал свою незаурядность: учится легко, без натуги, силен в математике, а сочинения пишет — ну, просто Писарев, так оригинально. Бывал у него и дома. Отец, инженер-мелиоратор, крепко пил, опустил, но чувствовалось, что знал человек лучшие времена, многое помнил и интересно рассказывал — ведь образование получил в Москве, живого Маяковского слышал.

Наступили экзамены на аттестат зрелости. Молдавский язык Дронину не вытянуть на «пятерку»: как-никак мы зубрили его с четвертого. Значит, чтоб получить серебряную медаль, все остальное нужно сдать «кругом отлично». И сдал. На беду, оценку по литературе в министерстве просвещения срезали.

— Это несправедливо, — доказывал я, — мне — золотую, а Леве — никакой...

— К сожалению, от нас сие не зависит, — сказал директор школы. — С министерством не поспоришь...

— Это почему же?..

— Вот что, Зиновий Маркович, — вдруг решился директор, — поезжай с нашим смельчаком в столицу. Авось, что-нибудь выйдет...

На следующий день вдвоем с завучем отправились в Кишинев. Заместитель министра, выслушав доводы в пользу Дронина, затребовал Левкино сочинение, просмотрел его при нас и добавил недостающий балл.

— Молодец, что вступился за товарища. Сам-то куда думаешь поступать?

— В Московский университет, на отделение журналистики.

— Лучше бы в наш, Кишиневский.

— В нем не готовят журналистов.

— Мы тоже ему советуем не уезжать далеко: сын погибшего, без отца вырос... — вставил слово Зиновий Маркович.

— В белокаменную рвешься?.. Ладно, попробуем тебе помочь, — заключил добрый замминистра и приказал выдать мне бесплатную туристскую путевку для путешествия в Москву и пятьсот рублей наличными.

В назначенный срок присоединился к группе учительских детей — экскурсия устраивалась для них, двинул в МГУ. Едва прибыли, разместились на турбазе, не утерпел — помчался на Моховую. Строгая классика бело-желтых университетских зданий настраивала на высокий лад: так вот где сподобился учиться!..

Наутро, чуть свет — я у дверей филфака. Дождался открытия. Секретарь приемной комиссии, русопятая красавица с венком пергидролевой тусклой косы вокруг головы, взяла документы, недоверчиво вглядываясь в каждую букровку.

— А это что? — спросила она, дойдя до характеристики.

— Комсомольская характеристика.

— Почему не по форме — на бланке горкома и подписана его первым секретарем?

— Так положено: я член городского комитета комсомола.

— За бумажки прячетесь?..

Я с четырнадцати лет горел на общественной работе — готовил вопросы на всякие бюро и проворачивал различные мероприятия, боролся за поголовный охват несоюзной молодежи и выступал с пламенными речами на активах, составлял проекты резолюций и месил грязь в инспекционных проверках первичных и вторичных организаций, торчал часами на заседаниях, корчась от голодных спазмов в желудке, и срывал голос, подхлестывая и убеждая нерадивых. И вот — дождался.

Скользнула по мне следовательским взглядом.

— Собеседование по иностранному языку сегодня, по специальности — завтра.

Преподавательница немецкого дала прочитать и перевести довольно сложный текст, погоняла по грамматике и отпустила.

«Специальную» подготовку ревизовала представительная комиссия. Возглавлял ее доцент Ухалов. Он и задал первый вопрос:

— Скажите, вы не финн по национальности?

— Нет.

— А кто?

— Еврей.

— Если не ошибаюсь, вы из Молдавии? Там есть университет. Почему поступаете в МГУ?..

— В Кишиневе нет отделения журналистики.

— В общежитии нуждаетесь? У нас мест нет.

— Частной квартиры я не осилю: отец погиб, у матери — еще двое.

— Поговорим о вещах профессиональных, — нарушил наш с Ухаловым диалог один из членов комиссии. — Каким размером написано первое вступление в поэму Маяковского «Во весь голос»?

— Маяковский придерживался тонического стихосложения.

— А вы все-таки попробуйте, разбейте на стопы первую строфу. Возьмите мел, изобразите на доске.

Воспроизвел четыре строчки, оговорив, что не помню разбивки лесенкой, проставил ударения, разделил слова на слоги, пытаюсь определить размер. Ничего не получилось.

— Довольно, — сказал задавший вопрос.

— Вы свободны, — добавил Ухалов.

Результат узнал на другой день.

— Вам отказано в приеме за отсутствием общежития, — безразлично сообщила тусклокося красавица.

«Неужели не нашлось для меня захудалой койки?.. Где же справедливость?.. Вот, повесили портреты Берлинского, Лермонтова, а ведь первого исключили из университета, второй оставил его сам...— думал я, потерянно бродя по коридорам филфака, пока не уткнулся в дверь с табличкой «Партбюро». — «Господи, это-то мне и нужно, здесь мое спасение!»

Секретарем партбюро оказался тоже член комиссии, не проронивший на собеседовании ни слова. Теперь он был даже по-своему участлив.

— Скажите, у вас и отец, и мать — евреи?

— Да, евреи.

— Жаль.

— Почему жаль?

— Будь хоть один родитель из молдаван, мы могли бы принять вас в счет лимита вашей республики. А так — нет мест. В будущем году сдадут здание на Ленинских горах. Попробуйте снова.

Получил обратно документы. К ним была приколота бумажка со следующими записями:

«Немецкий язык знает хорошо.»

«Знания в русском языке неуверенные.

Прием на отделение журналистики нежелателен».

Уж который час вышагивал по улицам Москвы, забыв об обеде. Ну, верно, провинциальная школа... Но разве наши выпускники не поступали каждый год в московские вузы?.. И, собственно, как могла комиссия судить о моих знаниях, если спрашивала совсем о другом?..

На Кировской, кажется, обратил внимание на вывеску: «Военно-механический институт». Стенд у входа завлекал повышенной стипендией для всех нуждающихся. Вот и отлично, неожиданно решил я: сейчас зайду, напишу заявление. Военно-механический — значит, причастен к армии, в армии справедливость и порядок. И жилье будет, и повышенная стипендия.

Все отняло пятнадцать минут. Человек с офицерской выправкой взял у меня бумаги, а возвратившись, сказал:

— Принять не можем.

Вон из этого бездушного города! Помчался на турбазу, собрал чемодан, черкнул прощальную записку экс-



курсантам — и на Киевский вокзал. Билет купил до Одессы — там, в водном институте училось несколько моих старших друзей. Займусь практическим делом, буду кораблестроителем.

Прибыв в Одессу, тотчас отправился в гуртожиток водного, разыскал одного из ребят.

— У нас и койка освободилась, — радовался он. — Тут и поселишься. Чудо, что меня застал. Каникулы проходят, а я загораю в институтском комитете комсомола. Сбегай, сдай документы — и мигом назад. Отметим твоё поступление.

Ответственный секретарь с вислыми гайдамацкими усами процедил на мови — даю перевод:

— Решение приемной комиссии будет завтра.

Земляк познакомил меня в общежитии с соседями по комнате. Он еще не оставил мысли затеять сабантуй — отметить начало моего студенчества, но я твердо отказался.

Утром гайдамак из приемной комиссии возвратил многострадальные папери. На них была резолюция: «В приеме на кораблестроительный факультет отказать».

Друг-земляк не верил собственным глазам.

— Такого еще не бывало! У нас и серебряных медалов всегда брали. Нет, тут что-то не то. Пойдем в комитет комсомола.

Комсомольский лидер водного института, выслушав своего комитетчика, поспешил в партком. Пока он объяснялся с партийным начальством, я томился в коридоре.

— Иди сюда, — позвал ходатай, выглянув из дверей.

Парторг был сухошав, подтянут. Цивильный костюм сидел на нем, как военно-морская форма.

— Рассказывай, только без утайки, — предложил парторг. — Может, какие изъяны в биографии?..

Я поведал свое короткое жизнеописание.

— Ну, хорошо. Подождите, я скоро.

Он вернулся минут через сорок.

— Пришлось дойти до директора. Тебя примут. На любой факультет, кроме кораблестроительного. Выбирай. На первых двух курсах программа одинаковая. Потом переведешься.

В тот же день я был зачислен на факультет механизации портов и водных сооружений Одесского института

инженеров морского флота, с предоставлением общежития.

В Тирасполе каждый встречный спрашивал:

— Журналистом будешь?

— Нет, я поступил в водный.

— Как же МГУ? Не принимают евреев?..

Я спорил, доказывал, что национальность здесь не при чем, говорил про здание на Ленинских горах.

Больше всех огорчилась мама.

— Ты же мечтал писать. Как же так, сынок, не посоветовавшись ни с кем, можно ли?.. Если уж не Москва, то и не Одесса, где у нас ни души родной. Еще не поздно. Переводись в Кишиневский университет. Там тоже филфак, конечно, похуже московского, но при желании — в общем, все зависит от человека... И дядя Фима рядом.

Маме вторили школьная учительница литературы Клавдия Яковлевна и завуч.

— А твои стихи? — спрашивала учительница. — Ты же по складу характера гуманитарий...

— На инженера выучится любой человек с нормальными способностями, чтобы заниматься словесностью, нужна божья искра... — добавлял Зиновий Маркович.

Убедили. Я поехал в Кишинев и снова предстал перед ответственным секретарем приемной комиссии, на сей раз — КГУ. Этот кавказец был и начальником учебной части университета. Узнав о моих метаниях, он заметил, что на филфаке золотых медалистов пока нет, так что могу отправляться за аттестатом. Общежитие обещает твердо. Говорил кавказец тихо, размеренно. Акцент придавал его речи привычную убедительность.

Снова повлекся в Одессу. И снова возник перед гайдамаком.

— Не виддам паперив. Парторг за тобэ хлопотав, до нього и иды.

Опять сижу у партийного секретаря, каюсь в неостоянстве.

— Что ж, видно, не судьба тебе у нас учиться... — Снял трубку, позвонил в приемную комиссию. — Верните Сиркесу документы.

Кавказец, когда явился к нему через день, встретил меня с все той же восточной невозмутимостью. Спустя минуту я был зачислен студентом филологического факультета «с предоставлением частной квартиры».

— Как это?..

— Так написано для проформы. Общежития распределяют общественные организации. Вы что, не верите моему слову?.. Будет вам место. Приходите 31 августа прямо ко мне.

В канун учебного года стою перед кавказцем, прошу обещанного ордера на общежитскую койку. Смотрит, будто впервые видит, потом должно быть вспомнив, достает из ящика стола папку.

— Пойдем в ректорат.

В просторной комнате трещат секретарши и пишущие машинки, не смолкают телефонные звонки.

— Подождите здесь.

Кавказец отсутствует долго, а появившись велит машинистке:

— Допечатайте его на русское отделение, — и протягивает папку — забытое, как теперь становится ясно, мое досье. — Ну, теперь все в порядке. — Последние слова обращены к новоиспеченному студенту. — Но об общежитии и не заикайся: еле уломал ректора...

— А жить где?

— Потерпи. Улягутся страсти, что-нибудь придумаем.

Я ночую у ребят с курса, у родственников и, отчаявшись, сообщаю маме о своем бесприютстве.

— Ты просто не умеешь объяснить людям наше положение, — кричит мама на том конце провода.

В субботу у филологов военный день. Держу равнение в строю у гаубицы и слышу зов дневального:

— Курсант Сиркес, к полковнику!

Откуда, думаю, он знает о моем существовании и за какие грехи требует к себе?.. В кабинете начальника военной кафедры против полковника сидит мама. Полковник занят телефонным разговором.

— А я настаиваю — обеспечить сына погибшего офицера койкой вы просто обязаны! — Полковничье лицо рдеет от возмущения. — Нет у вдовы денег на частную квартиру... Уполномочен теми, кто не пришел с войны. До командующего округом дойду, но не отступлюсь!..

Свирепо нажимает на кнопку, вызывает лаборанта.

— Этот курсант, — я вытягиваюсь перед начальством по стойке «смирно», — будет спать здесь, пока не получит общежития.

Потом мама рассказывала, как попала к полковнику.

Ректор выслушать ее не пожелал. В слезах полпла-лась на военную кафедру, прочитав в расписании, что у первокурсников-филологов занятия именно там. Дожи-даясь перерыва, сидела на скамейке вблизи милитари-зованной территории, где маму и увидел дежурный майор. Подошел, спросил, что случилось, доложил о плачущей женщине начальнику.

Лаборант, как было приказано, ежедневно оставлял для меня ключ от кабинета. После лекций, с половины десятого, я располагал продавленным диваном, спал, по-стелив газеты на покоробившуюся клеенку. Приходя на кафедру первым, старый полковник деликатным покаш-ливанием будил незадачливого постояльца.

Сильна была комсомольская закваска, несмотря на московские удары. Узнав, что Костю Простосинского, бывшего партизана и первого секретаря Тираспольского горкома, избрали вторым секретарем ЦК ЛКСМ Мол-давии, обратился к нему за помощью.

— Сейчас подготовим письмо ректору — завтра же будешь с жильем, — сказал Костя, выслушав историю моих злоключений. — Сам и отнесешь в запечатанном конверте. Так вернее.

Отнес. За результатом велено было навеститься через несколько дней.

— Просьба передана в комитет комсомола, — объя-вили в ректорской приемной в назначенный срок.

Университетский комсомольский секретарь был сту-дентом четвертого курса исторического факультета. Участник войны, он неизменно носил в лацкане пиджа-ка орден Боевого Красного Знамени.

— Если б Простосинский обратился лично ко мне, все было бы улажено, а теперь жди решения обществен-ности...

В один из вечеров ключа в условленном месте не оказалось. Побрел к дяде. Его жена не на шутку встре-вожилась: не застрял бы племянничек надолго, и без него тесно впятером в двух смежных комнатах.

— Садись и пиши заявление на имя председателя Совета Министров, — сказала тетка, машинистка в сек-ретариате главы молдавского правительства. — Об ос-тальном позабочусь сама.

Еще через день я превратился, наконец, в полноправ-ного студента с койкой в общежитии, поселился с буду-щими историками.

А еще можно вспомнить, как после первого курса, заглушив в себе боль прошлых обид и уповав на посулы партийного деятеля из МГУ, на летнюю стипендию снова поехал в Москву. На отделении журналистики снова сказали, что с Ленинскими горами и нынче неуправка и потому министр высшего образования запретил переводы, затем в приемной проректора показали список переведенных: не поняв, чего добиваюсь, мне просто предложили убедиться, что моей фамилии в перечне счастливиц нет.

Согласись, на пути к университетскому диплому я проявил подлинно еврейскую настырность.

Исаак Бабель с горьким юмором писал, как его хотели засыпать на экзамене в подготовительный класс, а он, будто заколдованный, отвечал на все вопросы. И тогда у почтенного учителя вырвалось:

« — Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит».

До революции была процентная норма.

Паустовский в автобиографической повести «Далекie годы» приводит такое свидетельство: в киевской Николаевской гимназии православные выпускники нарочно получали «четверки», чтобы золотые медали достались их товарищам-евреям. Медалистов принимали в университет сверх нормы. В 1951 году не помогала и золотая медаль.

Во «Времени больших ожиданий» Константин Георгиевич передает пронзительное признание автора «Кон-армии»:

« — Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного никак не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом».

Когда много позже познакомился с питомцами МГУ, как раз с того курса, на который мне попасть не удалось, они удивлялись неосведомленности провинциала, дерзнувшего с подпорченным «пятым пунктом» сунуться к ним на отделение журналистики. В Москве всем было известно, что еврею туда хода нет, если отец у него не подонок типа Давида Заславского.

Полукровки — те иногда проходили. Это было до иезуитской новинки бюрократов, придумавших, правда,

для ведомственного употребления, остроумное словосочетание — латентный еврей. Теперь достаточно стало четвертинки, восьмой доли еврейской крови, чтобы не приняли в институт, не взяли на работу. Ограничения распространялись не на все вузы и учреждения, но выяснить, где именно действуют, можно было только эмпирическим методом проб и ошибок...

Популярна точка зрения — зачем нам готовить кадры для Израиля? Она не закреплена ни в письменных распоряжениях, ни в циркулярах. Указания давали устно.

Сестра плакала, рассказывая, как в Запорожье, в машиностроительном, перед набором 1977 года, а у нее сын-абитуриент, ректор собрал подчиненных и приказал принять не более одного процента евреев. Бдящий администратор возродил дореволюционное установление. Впрочем, при царе процентная норма была выше. С 1887 года в черте оседлости она составляла десять, вне черты — пять, в Москве и Санкт-Петербурге — три из ста. Распространялась как на средние, так и на высшие учебные заведения. А если куда доступ был и закрыт, объявлялось о том во всеуслышание. Открыто. Ханжеством не пахло.

Бабушка Сима пережила погром в Кишиневе. Дедушка вывез ее, тогда еще невесту, из этого города сразу после потрясших Россию событий. Молодую долго мучили по ночам неотступные кошмары. Но и через десятилетия, в старости, с дрожью в голосе говоря об окропленных кровью улицах, бабушка убеждала меня:

— Это страшнее войны...

Нашел у Короленко очерк «Дом № 13», написанный по горячим следам трагедии в июне 1903 года. Вот первое впечатление Владимира Галактионовича о губернском центре Бессарабии: «Все может случиться в Кишиневе, где самый воздух еще весь насыщен дикой враждой и ненавистью. Евреи охвачены страхом и неуверенностью в завтрашнем дне». Гуманист Короленко спрашивал: «Действительно ли гнет ростовщика легче, если он не носит еврейскую одежду и называет себя христианином?» Впрочем, уже было ясно, что при попустительстве полиции погромщики обрушились прежде всего на кварталы, где ютились ремесленники и мелкие торговцы. В доме, давшем название очерку и более дру-

гих пострадавшему, жили неимущие трудяги. И их убили. «А теперь нужны будут годы, — предрекал Короленко, — чтобы хоть сколько-нибудь изгладить подлое воспоминание о случившемся, таким грязно-кровавым пятном легшее на совесть кишиневских христиан».

Приезжая в Кишинев навестить маму, встречался с молдаванами — однокашниками и коллегами.

— Как тебе наша столица? — спрашивает прозаик, с которым некогда служили в газете.

— Хорошеет! Но, послушай, что тут у вас творится? Почему так бегут евреи?.. Молдавия, кажется, на первом месте в Союзе по числу эмигрантов.

— Да, евреи, нас покидают. Мы этому не совсем рады, потому что в квартирах уезжающих поселяют офицеров-отставников... — Писатель, хранитель народной нравственности, он выразил тревогу своих сограждан об исходе соотечественников.

А как же «подлое воспоминание»? В девятьсот пятом был еще один погром. И потом ненависть сменилась безразличием?.. И мне, чьи предки появились на берегах Днестра никак не менее трехсот лет тому назад, бывало, недвусмысленно намекали: чужой ты здесь и прав ни на что в сих пределах не имеешь.

Злопамятная бабушка Сима, не забывающая кишиневских ужасов, изводила меня:

— Женишься на гойке, рано или поздно услышишь от нее слово «жид». И от детей услышишь...

Я возмущался ее предсказаниями, она не унималась:

— Никто и нигде нас не любит.

— А ты кого-нибудь любишь, кроме евреев? Почему всех называешь оскорбительно — гоим?

— Гой — значит иноверец, никого этим не обижаю, просто говорю, что мы молимся разным богам.

— В Одессе во время погрома православные прятали у себя еврейские семьи.

— А ты откуда знаешь?

— Из повести «Белеет парус одинокий».

— Рядом с моей тетей жили молдаване. Пока жена нас прятала, муж таскал ковры из жидовских домов...

— То было при старом режиме.

— Всякая власть от Бога, — возразила бабушка. — Эта от него отказалась. Ну, посуди сам... — И расска-

зала, сочтя, что я уже достаточно взрослый, историю, которую дедушка Нухим скрывал.

Кузина и молочная сестра Маня не повторила Сибиной глупости, то есть вышла замуж не за мастерового, а за торгового человека по фамилии Розен и уехала с ним в Америку. В 1919 году разбогатевшие Розены прислали шифскарты на всю семью Кацевманов, приглашая в Сент-Луис.

— Разве дед мог когда на что-нибудь решиться?! — полувопросила-полувоскликнула бабушка. — Ведь надо взять Днестр!.. Переправа у Дубоссар еще действует — только плати, пограничники в доле с перевозчиками... Короче, мы не поехали. Если революция помогла твоему рождению, так тут оно висело на волоске: Сиркисы же не думали бросать свое имущество, которое у них уже, кажется, отняли... Как бы Шлоймеле женился на нашей Хане?..

Разразился голод двадцать первого года. Розены слали в Дубоссары посылки и переводы — за валюту в Торгсине отпускали дефицитные продукты.

— Тетя вскормила меня, Маня не дала умереть моим детям, — признавала бабушка.

Но деда Нухима доллары заокеанских свойственников едва не погубили. В Чека обратили внимание на столяра, который несколько раз посетил Торгсин. Дед был взят на цугундер. Оперативник требовал зелененьких, а они все были истрачены. Тогда представитель власти вытащил наган, большим и средним пальцем левой руки разомкнул дедовы челюсти, сунув в образовавшийся зазор вороненый ствол.

— Сознawайся, Нухим-хухим, где притырил валюту? Не скажешь, пристрелю, как собаку! — приговаривал чекист и для убедительности вращал при этом указательным перстом барабан револьвера. Надо пояснить: хухим — древнееврейское слово, в переводе на русский — умница, умник, так что следовательно не только владел рифмой, не был чужд ему и язык Библии...

Видимо, недейственность крайней меры утвердила мытаря в безгрешности жертвы: выстрела не последовало.

Этот рассказ бабушки пролил свет на эпизод, который произошел в Тирасполе в конце войны или сразу после нее. Почтальон принес письмо: на конверте — красивые заграничные марки, внутри — отпечатанный на



машинке текст. Какая-то еврейская организация (а не пресловутый ли Джойнт?), по просьбе семьи Розен, запрашивала о судьбе семьи Кацевман.

Дед Нухим собрал детей, вошедших в сознательный возраст внуков и сказал:

— Мы ничего не получали. — Затем бросил письмо в печку, а когда оно сгорело, перемешал золу, старательно шуруя кочергой.

Биологи считают, что на генетическом коде условные рефлексы не отражаются. Должно быть, это верно. Как-то обнаружил в Москве «Бюро по розыску иностранных родственников советских граждан Советского Красного креста и Красного полумесяца». Мама дерзнула воспользоваться его услугами, — что, мол, возьмешь с пенсионерки, — уточнила у старшей памятливой сестры, как прозывались дети тети Мани, написала. Ответ пришел через полгода. Потомков Мани и Элиаса Розенов в США не оказалось — так сообщили из бюро.

— Ну, а что ты об этом думаешь? — спросила бабушка Сима, закончив о муках деда Нухима в ГПУ. — Разве так должна милиха обращаться с людьми?.. Поэтому евреям надо держаться от нее подальше. Не приняли тебя в Москве — ты горюешь, а надо радоваться: ближе к своим — оно лучше...

Слово «милиха» я знал. На древнем нашем языке им называют государство. Молох — производное от него.

Накануне засиделся у сокурсников, снимавших комнату. Уговорили переночевать. Утром, чуть свет, разбудил сосед.

— Слышали, тяжело заболел Сталин — кровоизлияние в мозг?

Один из нас, наиболее эмоциональный, как привстал на кровати, так и закачался, точно отбивая поклоны, запричитал:

— Черная туча надвинулась, черная туча... — и за голову схватился.

Казалось, не до смеху, но все разом прыснули, глядя на столь неподдельное кликушество.

Следующие два дня в общегитии не выключали репродукторов — ждали бюллетеней о здоровье. Пятого марта услышал сквозь сонное забытье душераздирающие рыдания. Открыл глаза. За окном темно. По радио передают правительственное сообщение.

«Что же с нами теперь будет?» — думал я и втихомолку плакал под траурный шопеновский марш.

Вспомнились слова отца из его фронтового треугольника:

«Сынок, если погибну, то за Родину, за Сталина, за правое дело.»

В последний раз мы виделись четвертого апреля сорок второго года. Уже в Алма-Ате установилась теплынь, а он ввалился в ватнике, в стеганых брюках. Тяжелая кобура оттягивала ремень.

Мама дома не оказалось.

Отец поцеловал сестренку. Младшей было шесть месяцев. Я часто потом представлял перед ней в лицах эту последнюю нашу встречу.

На прощанье прижал меня к груди, отдал аттестат, пачку денег и вскочил в кузов грузовика.

Знал ли я своего отца? Говорят, он был добр, бесшабашен, смел до дерзости. Второго мая ему исполнился тридцать один год.

В августе получили не треугольник — письмо в обычном конверте. Мама разорвала его и беззвучно повалилась навзничь. В листок, где сверху типографский оттиск «Извещение», твердым писарским почерком внесена бесстрастная формулировка: «Младший лейтенант Сиркис Шлем Моисеевич погиб смертью храбрых 26 июля 1942 года в бою у деревни Кропоткино Ливенского района Орловской области, похоронен в селе Троицкое (саядик)».

Мы все надеялись: после похоронки снова приходили треугольники, даже в сентябре.

Глубокой осенью было еще одно письмо — от комиссара полка майора Пырина. Он интересовался, в чем нуждается семья павшего боевого товарища, предлагал помощь.

С ответом мама не медлила. Попросила сообщить хоть какие-то подробности об отце, написала и о том, что наспех слепленная дедом мазанка размокла от дождей — ночью обвалилась часть стены, засыпало сына. Меня, действительно, слегка придавило, больше натерпелся страху под ватным одеялом. Пролом зашили досками, набив между ними глины.

Пырин обратился в горком партии. Оттуда пришла комиссия. Нас переселили в комнату, которая освободилась в доме напротив. Но еще раньше маму вызвали

в военкомат, передали расчетную книжку отца и фотографии, что были при нем на фронте. Книжка поплыла кровью у корешка — папиной кровью.

Кровь на корешке книжки из левого кармана гимнастерки убеждала, что отца нет, но даже через годы и годы мы уповали на его возвращение. Нельзя человеку без этого... «Папа жив, — внушал я самому себе, — попал в плен раненый, оказавшись в окружении, случилось же такое с дядей Хаимом. А после войны — скитания перемещенного лица: Европа, Новый Свет, Австралия... Где-то мыкается, тоскуя обо мне, о сестрах, о матери... Пусть! Только бы живой...»

Как недоставало отца мальчишке и — еще больше — взрослому! Мы понимали бы друг друга, несмотря на взаимную отчужденность, глухоту, разделившие сейчас поколения. Сколько ошибок и заблуждений можно было бы избежать, будь он рядом!.. Так казалось, кажется до сих пор.

И Саша. Она называла дедушкой разве что твоего дядюшку Витю.

Никто из наших не видел могилы отцовской, обелиска с его именем...

Первый раз в Орловщину я поехал только в шестьдесят четвертом, перед рождением дочери. Сначала учился вдалеке от тех мест и не было денег, потом работал в Казахстане, в отпуск спешил к маме. Она тосковала, звала. Отец ждал...

Никогда себе этого не прошу.

За окном поезда стелется среднерусская равнина — города, полустанки, деревни, избы... И каждый кров для кого-то отчий.

Следы последней войны на этой земле заметит, да и то не всегда, лишь очень внимательный взгляд. В надломе старого дерева. В оспинах от пуль и осколков на кирпичной кладке водокачки. В плохо замазанном «Проверено, мин нет».

Осевший холмик с пирамидкой, увенчанный жестяной звездой.

В скверах при станциях — стандартные фигуры автоматчиков в цементных складках склоненных знамен. Значит, братское кладбище. Кто здесь лежит, сколько их?..

Это ли не военные отметины?

Вертятся, грохочут на стыках колеса. И разное навевает из прошлого. Многократно повторенный гудок локомотива слышится воплем сирены: «Воздушная тревога!» Поневоле вздрогнешь, когда пролетит рейсовый «Ту» — его тень кажется похожей на силуэт выползшего из детства «мессера».

Тянется вдоль состава дым, исторгаемый стареньким паровозом, заволакивает все вокруг, и уже видятся сполохи тех пожаров. Сквозь них мчится эшелон. Он везет к передовой бойцов — сколько таких эпизодов сняли фронтовые кинооператоры!

До сих пор, смотря ту хронику, до рези в глазах вглядываюсь в каждый кадр. Форма делает людей одинаковыми. Этот лейтенант чем-то отдаленно напоминает отца... Останавливаю мгновение. Но нет. В сорок втором еще было не до съемок...

После шестичасовой духоты в рабочем поезде от Орла до Ливен я пересел в автобус на Троицкое. Троицкое — конечная остановка. И название знакомое. Но не вспомнил, почему оно мне известно. В голове засело Кропоткино. Туда и стремлюсь. Надо будет, говорят, еще километров пять-шесть пройти пешком.

А вот и околица Троицкого. В садике перед церковью — братская могила. Такая же, как и другие. Памятник — неуклюжая стандартная поделка. Надпись: «Вечная слава героям!» Кто схоронен, не сказано. Поставил у оградки и заспешил по проселку вдоль жнивья.

Прошагал час. В полях безлюдье. Только на горизонте ползает одинокий трактор.

Наконец, встречный расхлябанный «зил», волокущий за собой завесу пыли. Поднимаю руку — шофер наверняка знает дорогу.

— Ни, мы — полтавськи, прыгнули сюды на буряк...

То двигалась колонна. Третий или четвертый водитель оказался из местных.

— Садитесь, подвезу.

Лесозащитная полоса привела к свекольному бурту. Вокруг женщины перебирают клубни, обрезают ботву.

— Сами кто будете? — спрашивают.

— Из Москвы я.

— Из самой Москвы!?

— Из самой... Есть тут у вас солдатские захоронения?..

— Есть, как не быть. Кого ищите?

— Отца.

Сбежались мальчишки, предлагают свои услуги:

— Пойдемте, дяденька, покажем, тут близко...

Деревенька — в низине, и потому словно вырастает из вечного чернозема. Ряд изб образовал одностороннюю улицу.

Место, которое когда-то было садом, — пни торчат.

Пологий склон, лысый, выбитый копытами скотины. На нем едва заметны проплешины. Можно догадаться: заброшенные могилы.

Их оказалось три. И все были безымянными. На покоробленной измятой полоске цинка вкривь и вкось выведено: «Вечная слава». Больше — слово «героям» — не убралось в строку.

Я вернулся к бурту, стал допытываться у женщин, не помнят ли имен покойников.

— Надо Митяя Бородина поспросить. Они с Дмитрием Семеновичем приезжали пшеничку выкапывать. Мы-то были в отступе.

Молодайка вызвалась проводить к Митяю.

В четырехстенке копошились на полу в подсолнечной лузге голопузые дети. За длинным дощатым столом сидела на лавке старуха.

— Вот, из самой Москвы человек приехал. Отцов след ищет... У нас тут от немца убит, — сказала молодая с порога.

— А наш Иван где?! Где его косточки посеяны?.. — заголосила старуха.

Появился Митяй. Узнав в чем дело, спросил:

— Твой отец был кто, часом, не лейтенант?

— Младший лейтенант.

— Крайняя его могила.

— Там две крайние.

— Пойдем, покажу. И Дмитрий Семенович подтвердит. Я-то малой был, а Дмитрий Семенович председателем у нас тогда работали — не даст соврать...

По дороге мы зашли к бывшему председателю, тоже Бородину.

Он начал издали, с коммуны, которую, по его словам, сам же и организовал здесь еще до колхозов в честь революционера князя Кропоткина.

— Фронт здесь долго стоял, месяцев восемь, — придвинулся, наконец, Дмитрий Семенович к интересующему меня времени. — А хлеб мы перед вакуацией в зем-

лю зарыли. С собой взяли немного. Когда съели, пришлось просить военное начальство, чтоб разрешили откопать запас. Приехали под вечер, на подводах. Тут, аккуратно, лейтенанта хоронят. Других так в землю лóжили. Ему гроб сколотили...

— А какая его могила?

— Не скажу. Мы издаля смотрели, салют слышали.

— Митя говорит — крайняя.

— Может, и крайняя. Давно это было...

Митяй пригласил на ночлег. Мы долго сидели, пили вонючий свекольный самогон, говорили о своих отцах.

Утром я был среди почерневших пней прежнего сада. Частью его вырубил на обогрев солдаты, когда лютой зимой сорок второго — сорок третьего годов удерживали здесь натиск немцев. Остальное — сами кропоткинцы после войны. Невмоготу стал налог — взымали за каждое дерево.

Подсыпал холмики, ровняя их лопатой, обложил дерном.

Ждал: может, сердце подскажет?.. Не подсказало. И выбрал: пусть эта, крайняя слева. Ведь должна же какая-то быть его...

Митяй дал мне не только лопату, но и другой нужный инструмент, предложил досок, красной масляной краски.

Я сбил деревянную пирамидку, укрепил на теперь уже своем холмике. Спереди приладил фанерку:

Младший лейтенант

Сиркис С. М.

2.5.1911—26.7.1942

В Кропоткине тогда было тринадцать обитаемых изб — все больше малые ребятишки да старики. Подошел какой-то дед, молча постоял, посмотрел, как работаю, осенил меня крестным знаменем.

В обед прибежал Митяй.

— Пойдем, поспедаем. Теперь, Паша, не беспокойся, — твердил добрый Митяй, — не более душой. Доглядать буду, как бы родной отец в ней лежит...

Сфотографировал самодельный обелиск и повез карточку маме.

Минуло еще несколько лет. Мы с мамой разбирали старые бумаги и нашли одно из двух пыринских писем.

А что, если попытаться разыскать майора? Не известны его инициалы, зато достоверны номер полка — 229, должность — заместитель командира по политчасти, номер дивизии — восьмая стрелковая.

Написал в Центральный государственный архив Советской Армии.

В апреле 1969 года ответили, что запрашиваемых данных не имеется, заявление переслано в архив Министерства обороны СССР, в город Подольск Московской области.

Через два с небольшим месяца приходит на официальном бланке:

«Пырин Владимир Федотович, 1911 г. рождения, уроженец г. Ферганы, подполковник, бывший комиссар, зам. ком. по политчасти 229 СП 8 СД приказом Глав. ПУРККА № 093 от 8.2.47 г. уволен в запас по ст. 47 п. «А».

Куда убыл не указано.»

Значит, жив, уцелел на войне. Но с сорок седьмого двадцать два года намотало. И все-таки можно искать...

Мосгорсправка сообщает и адреса иногородних. Обратился.

— Город какой? — спрашивают.

— Если б знал! Известно только, что родом из Ферганы.

— Тогда нужен всесоюзный розыск, а это МВД, да и то по распоряжению министра.

Точно осенило: Валя Антошин — вот кто поможет.

Когда бывший зампредсовмина, бывший предсовнархоза Молдавии Николай Анисимович Щелоков возглавил МВД СССР и из полковника в отставке превратился в действующего генерал-полковника, а потом и генерала армии, он многих призвал из республики, где подвизался после войны, в том числе — и Валю. Историк по образованию, Антошин, как и я, был то ли лейтенантом, то ли старшим лейтенантом запаса.

Получил сразу полковника. И стал помощником министра.

Позвонил Вале.

— Позарез нужно найти человека. — И изложил, почему.

— Это все эмоции. Ты напиши на имя Николай Анисимыча, но укажи, что Пырин — герой твоего фильма. Остальное беру на себя.

— Так оно и есть. По моему сценарию на Свердловской киностудии готовится фильм «Памяти отца».

Валя не подвел. В июле я получил уведомление, что дело поручено УВД Мосгорисполкома, в августе: розыск осуществляется («при получении ответов Вам будет сообщено незамедлительно»). В начале октября был и результат:

«...подполковник запаса Пырин Владимир Федорович проживает: г. Волгоград, Вишневая балка Докучаева — 20». Отчество все-таки исказили.

В тот же день написал Пырину. Ждал пять месяцев — ответа не было.

А не умер ли, пока велись поиски?.. Как-никак под шестьдесят ему. Да и раны могли укоротить век, и контузии... Пригласить на переговорный пункт? Если нет Владимира Федотовича, только расстроишь близких... Нет, надо ехать.

Я работал тогда над сценарием о генерале Родимцеве. Сталинградская битва — пик его славы. Заодно наметил и сбор родимцевских материалов.

Вновь выстроенный город на Волге — семьдесят километров вдоль берега. Милиционер указал дорогу. На трамвае, а февральская стужа пробирала до костей даже в вагоне, добрался до Вишневой балки. Улицы Докучаева никто не знает. Отчаявшись, завернул в магазин отогреться, воззвал к очередям:

— Товарищи волгоградцы, где тут у вас улица Докучаева?

Оказалось, Вишневая балка разорвана Мамаевым курганом и центром. Другой ее конец — за рекой Царницей. Там-то и находится нужная мне улица.

Опять трамвай — и зуб на зуб не попадает. Указанный адрес отыскал уже в ранние зимние сумерки. Постучал в окно небольшого приземистого домишки. Открылась форточка, выглянул молодой человек лет тридцати.

— Здесь живет Владимир Федотович Пырин?

— Здесь.

— Можно его увидеть?

— Он еще на работе, скоро будет.

— Нельзя ли подождать в доме? Мороз...

— Проходите.

Калитка, сенцы. Разговор продолжается в жарко нагретой комнате.



— Я писал осенью Владимиру Федотовичу — ответа не получил.

— Он никому не отвечает. Да вы раздевайтесь.

— Здравствуйте! — На пороге соседней комнаты, видимо, спальни, стояла пожилая женщина с ребенком на руках. — Вы кто будете?

— Сын однополчанина... погибшего.

— А!.. Вот что — я, пожалуй, схожу на завод, тут недалеко. Не то смена кончится, как бы он не завернул куда...

Быстро собралась, убежала.

Должно быть, разминулась с Пыриным: кто-то тяжело, по-мужски затопал в сених.

— Вот и Владимир Федотович, — сказал молодой человек и обратился к вошедшему: — Дядя Володя, тебя товарищ из Москвы ждет...

Пырин был высок, сутул. От двери простер руки, кинулся меня обнимать. Расчувствовались оба.

Первым заговорил я:

— Владимир Федотович, спутали, за кого-то другого приняли...

— Не спутал — мы с тобой воевали.

— Вы с отцом моим воевали.

— Ты на него похож, а я забыл, что тридцать лет прошло. Останься живой, сейчас, как я, стариком был бы...

Возвратилась хозяйка.

— Как же я тебя не встретила?..

— Собери-ка нам чего-нибудь, — попросил ее Пырин.

Через несколько минут на столе розовели соленые помидоры и сало, мутнел самогон.

— Боялся, что вы погибли... — сказал я. — В пехоте-то больше всего и убивали.

— Всегда был с солдатами, а всех солдат убить невозможно, — ответил Пырин.

— И находили время писать семьям убитых?..

— Кто погибал сам, тем писал, кого расстреливал, — те мне писали.

— А помните, как погиб отец?

— Врать не буду — не помню. Мы каждый день людей теряли... Его самого помню, как погиб — нет. Он командиром хоззвезда был, но отчаянный.

— Не помните, где похоронили? Я искал его могилу, но не нашел.

— Нет, врать не буду.

— А на письмо почему не ответили?

— Никому не отвечаю... Ты погляди, каким с войны пришел. — Он протянул мне фотокарточку, с которой улыбался бравый подтянутый подполковник. На груди, слева, у него красовались ордена Александра Невского, две «Отечественных войны» и две «Звездочки». Справа, впереди медалей, висело на ленте «Боевое Красное Знамя». — А теперь во что превратился?..

И Пырин рассказал свою историю. Демобилизовался, действительно, в сорок седьмом и поехал на родину, в Фергану. Там жили жена и дочери, там его хорошо знали. И трудовой путь начинал в Фергане — был рабочим, вступил в партию. Направили в военно-политическое училище. Шел 1932 год.

Офицера-победителя, прибывшего в свой город совсем после пятнадцатилетней отлучки, встретили с почетом, пригласили в обком, предложили возглавить областной комитет физкультуры и спорта. Время было еще голодноватое. Объявлялись боевые друзья в армейском обмундировании, неустроенные. Старался помочь — допустил растрату в шестнадцать тысяч. Его привлекли к судебной ответственности, предварительно исключив из рядов, изъяли при аресте награды, дали четыре года. Он обиделся, сгоряча что-то не то сказал, написал — прибавили еще двенадцать. Получилось по году за каждую тысячу.

Жена была инструктором обкома партии. Брак с политическим заключенным грозил ей потерей места. Развелась.

И остался Владимир Федотович один-одинешенек. А срок отбывать отправили на строительство Волго-Донского канала.

Работал хорошо. Скоро расконвоировали. Потом прилепился к вдове, которая схоронила мужа, умершего от старых фронтовых ран. Вместе построили домик в Вишневой балке.

Освободился после смерти Сталина. Устроился на заводе слесарем — доармейская его специальность. В шестидесятом не восстановился, а снова вступил в КПСС.

— Дочки-то как? — не удержался, спросил я.

— Поднялись. Младшая недавно приезжала, требовала, чтоб золотые часы с цепочкой купил...

— Ордена вернули?

— Нет.

— Как же так? Чтобы их лишить, указ Президиума Верховного Совета СССР необходим... Хотите, все узнаю, похлопочу?..

— Зачем? На подушечках носить, когда умру?..

Мы засиделись. В полночь Пырин провожал меня к автобусу.

— Нельзя жить в обиде на всех, Владимир Федотович, — говорил я, прощаясь. — Что могу сделать для вас?

— Квартиру — можешь?.. Я старухе не муж, так... У меня открытый процесс в легких, а в доме — ребенок. Вот и выселили в летнюю кухню...

— Сам ничего не могу, но попробую подключить одного человека.

Я рассчитывал обратиться к А. И. Родимцеву. Он был почетным гражданином Волгограда. Не откажут, если попросит тот, чьи солдаты начертали на стенке набережной:

«Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, победили смерть».

В Москве перво-наперво поехал к Александру Ильичу. Рассказал о Пырине.

— Пусть обратится по форме. Без этого не положено хлопотать. И не сомневайся — все сделаю, — сказал Родимцев.

Я написал Владимиру Федотовичу, каков порядок, что не прихоть это генерала, пусть приложит руку к прилагаемому заявлению на его имя, — текст был сдержан по тону и отпечатан на машинке. Скоро пришел такой ответ:

*«Павел Семенович здравствуйте с приветом к Вам из г. Волгограда Пырин Владимир Федотович. Во-первых большое Вам спасибо за письмо, за совет на счет квартиры, вобщем за все, за все, еще раз спасибо, всех Вам благ и счастья в работе, личной жизни, а главное в здоровья. Павел Семенович, долго я колебался писать просьбу Генерал полковнику Родимцеву, но обстоятельства заставили, здоровье ухудшается, обратно открытая форма ТИБЕРКУЛЕЗА, сейчас пишу Вам дома на больничном. Да еще больше всего меня тяготит нет жилья, из этого и в семье неприятности в дом невхожу, продолжаю жить в кухне времянке. Да. Незнаю сколько вытяну без жилья. Павел Семенович,*

*коль Вы меня наставили на путь получения жилплощади, то я написал Генералу письмо с просьбой, да боюсь, что это все в пустую. Ведь дел-то у Генерала и безмелко много. Еще обидится, за попрошайничество.*

*Павел Семенович, я Вас очень прошу если у Вас будет время и подходящий момент лично увидеть Генерал полковника Родимцева Александра Ильича, то замолвите за меня словечко. И попросите за меня извенения за то что — я побеспокоил их. Да не забудьте если можно мне помочь, то прошу помогите.*

*Всего Вам наилучшего.*

*С дружеским приветом Владимир Пырин.*

*Приезжайте к нам в Гости, буду очень ждать.*

*Простите если что не так написано.*

*Еще раз с приветом В. Пырин.»*

Квартиру Пырину предоставили в ноябре.

Владимир Федотович дал мне адреса нескольких однопольчан отца. В Москве я отыскал командира полка (в Берлине — уже дивизии) Героя Советского Союза полковника в отставке Даниила Кузьмича Шишкова. Мы много с ним общались, съездили вместе в Ливны и Кропоткино на празднование годовщины Орловского сражения.

От пирамидки, которую я водрузил на холмике, не осталось и следа. Митиной вины тут не было: прах погибших со всей округи свезли в одно место, в братскую могилу, всем воздвигли общий памятник. В райкоме объяснили, что так оно и лучше, поскольку и захоронения дольше сохранятся, и земля не пуста.

Добрый Даниил Кузьмич, как он старался утешить меня, суетился, точно и его был недосмотр! Но и секретаря райкома задевать не хотелось. Хорохорился Шишков, нервно теребя крашенные редкие волосы, а входил в положение представителя власти. Впрочем, была ли на то секретарская воля?.. Так ведь учинили повсюду — одним централизованным распоряжением.

В гостинице, дабы отвлечь от мрачных мыслей, Даниил Кузьмич поведал мне, как до войны работал техником Метростроя, как проходил в запасе воинскую службу — три летних сбора, и он уже капитан. Зато к сорок третьему, когда командный состав повыбило, ему и полковничье звание вышло, и полк впридачу.

Несмотря на геройскую Звезду, Шишков оказался на удивление тих, непритязателен и скромен. Говорил как-то даже робко, через слово вставляя «тае», точно мужик из толстовской «Власти тьмы». Чем же он брал на фронте? Видимо, не выказывающей себя храбростью, исполнительностью, умением ладить с людьми. И еще было ясно, что супротив начальства такой не пойдет.

Помню, в армейских лагерях было дело, к нам на полигон приехали смотреть стрельбы заместитель командующего Одесским военным округом генерал-полковник Людников, тот самый, сталинградский, и командующий артиллерией генерал-лейтенант Фролов. Что творилось с нашими офицерами!.. В услужливости и подобострастии не знал меры даже мой заступник — начальник университетской военной кафедры. Людникову вдруг вздумалось наблюдать за курсантской пальбой, став одной ногой на табуретку, а другую взгромоздив на стол. Стол этот старый полковник предварительно торопливо застелил суконным одеялом, от усердия путаясь пальцами в складках. А ведь в Отечественную под его рукой была артиллерия корпуса!.. Лишь общий студенческий любимец — подполковник Дамаскин не егозил перед генералами. Что же произошло с советским офицерством?

Александр Ильич Родимцев рассказывал: в Испанию в 1936-м уехал взводным, через два года вернулся на место командира полка. Тот накануне застрелился, узнав, что арестованы почти все его товарищи по гражданской войне и академии.

— Мне до него и до сих пор не удалось дотянуться, — признавал Родимцев.

И еще рассказывал Родимцев, как в Сталинграде, когда между тринадцатой гвардейской дивизией и Волгой было всего сто — сто пятьдесят метров, в тылу у соединения, вдоль кромки берега, оставался только заградительный батальон НКВД. Силы были на исходе, подкрепления нет. И тут немцы перерезают боевые порядки дивизии. Родимцев поднимает бойцов в контратаку, приказывает комзаградбату, находящемуся на НП, подержать ее.

— Я вам не подчинен, — отрезал энкаведешник.

Родимцев вытащил пистолет.

— Пристрелю, как тыловую крысу!

Фашистов оттеснили, но в бою погибли и 34 чекиста.

— Грозил судом, да победителей не судят, — закончил этот свой рассказ Александр Ильич.

С Чуйковым конфликт вышел по другому поводу. На банкете по случаю капитуляции Паулюса пьяный командующий шестьдесят второй армией стал вязаться к Родимцеву:

— Ты, Сашка, хитер, умеешь корреспондентов приваживать. Они-то тебе славы и приписали!..

Александр Ильич вскочил, схватились за грудки. Подчиненные еле растащили полководцев.

Доложили Сталину. Верховный перевел Родимцева вместе с его корпусом в 66-ю армию Жадова, в составе которой и вступал впоследствии в Прагу.

По данным генштаба вермахта, на востоке погибло 1874 тысячи немецких военнослужащих. Сколько в боях с ними потеряли мы? По нашей урезанной статистике — 10 миллионов.

В Сталинградской битве с сентября сорок второго по февраль сорок третьего с обеих сторон участвовало свыше двух миллионов человек. Убит был один советский генерал.

Что отец знал, что думал об этом «гениальном» водительстве, о порядках, навязанных защитникам страны да и самой стране, ее руководителем, когда писал мне из пекла о своей готовности умереть за Сталина?..

Ну, а я когда стал что-либо понимать в происходящем вокруг?

Университет. Один из выпускников представляет дипломную работу, где неортодоксально трактуется какая-то сталинская догма. Результат — двадцать пять лет каторги. Новость передавали шепотом в стенах альма матер. В справедливости меры не сомневались...

Несколькими годами ранее. Бессарабия. Гребут людей только за то, что властям не понравилось их имущественное положение или, наоборот, приглянулось имущество. Высылают в Сибирь мелких лавочников, владельцев ремесленных мастерских. А ведь сначала на законных основаниях продавали патенты, облагали налогами. Значит, так нужно. Меня это не касается...

И не при мне ли громили космополитов—«беспачпортных бродяг в человечестве»? И не просто громили — на распыл пускали...

Что-то, выходит, видел за свой короткий век, а умер Сталин — и вот плачу, будто отца родного потерял...

5 марта была по графику баскетбольная тренировка. Идти или не идти? Нет, все должно быть, как при нем. Он и сам бы хотел того же.

Собрались к назначенному часу. Игра не клеилась. Переоделись, побрели на факультет. Там уже начинался траурный митинг.

Секретарь партбюро провозгласил лозунг:

— Сталин умер, да здравствует Маленков! — Он был историком, этот секретарь, но созвучие с роялистским призывом не показалось ему противоестественным.

Все встали. Скорбное молчание нарушали чьи-то несдержанные всхлипы.

Лишь через шестнадцать лет из манускрипта Роя Медведева «К суду истории» узнал о дьявольском плане Сталина. После «дела врачей» органы в спешном порядке готовились к массовому переселению евреев. В отдаленных районах страны строили бараки. Процветающий до сих пор академик Минц и безвестный Хавенсон сочинили «Обращение к еврейскому народу». На ряде крупных заводов рабочие приняли резолюции депортировать граждан еврейской национальности — для их же блага.

Покойный Гриша Буть (наши койки в общежитии стояли рядом) после двадцатого съезда и доклада Хрущева о культе личности, после самоубийства Фадеева показал дневник, который вел в конце сороковых годов. Сталина иначе, как чумой и душегубом, Гриша не называл.

— Откуда такое, почему? — спросил я Гришу.

— Ты жил в городе, а я деревенский, — сказал Гриша. — И хвостик войны захватил.

Гриша родился в двадцать седьмом в Кировоградской области.

Я работал в отделе промышленности, строительства и транспорта. Непосредственным моим шефом был Пров Яковлевич Армяков.

Армяков был мордвин, из сосланных в Караганду во время коллективизации. Когда-то его семья считалась кулацкой. Принудительный труд на шахтах Третьей кочегарки искупил классовый грех. Теперь в графе «социальное происхождение» Армяков указывал: из горняков. Он окончил индустриальный техникум, пописывая заметки в областную газету. При крайней нужде в кадрах его позвали в штат.

Меня Армяков с первого дня завалил донесениями рабкоров, авторскими статейками, которые требовали коренной правки. Как и во всех газетах, у нас была обязательная норма: сорок процентов печатать своих материалов, то есть из-под пера редакционных строчкогон, остальные — со стороны. Непросто их добыть, нелегко довести до публикабельности, а все на мне. Не разгибая спины перемарывал страницу за страницей, сдавал после перепечатки на машинке заву. Он искал огрехов и, если, как ему казалось, находил, злорадно давал волю красному карандашу. Когда же придаться было не к чему, Армяков простые человеческие слова заменял журналистскими штампами.

— Да не по-русски это!.. — однажды возмутился я.

Его личико со следами скудной растительности сморщилось от негодования, и он совсем стал похож на карлика, который старится, так и не став мужчиной.

— А ты-то откель знаешь русский язык?..

Я понимал, что судить обо мне будут по тому, что напишу, рвался из редакции на стройки, заводы. Армяков не пускал. И все-таки удалось накропать репортаж, — очерк требовал погружения в изображаемое, а времени было мало. Сочинил и рецензию на только что вышедшую повесть Хемингуэя «Старик и море». Оба своих опуса отдал Армякову, чтоб не нарушать субординации, хотя Хем был согласован с отделом культуры. Мелочь, информации — не в счет.

Ровно через месяц вызывает Боярский.

— Ну, как работается?

— Нормально,

— Что-то не видно тебя на страницах... Что-нибудь написал?..

— Две статьи.

— Где ж они, твои статьи?

— У заведующего, у Прова Яковлевича.

Боярский тут же пригласил зава с моими поделками, прочитал и отправил в набор, отпустив нас с миром. Но Армякову такое состояние не понравилось.

— Жаловаться побежал!.. — зло бросил он, когда мы вышли из начальственного кабинета.

— Половина испытательного срока — вот Боярский и потребовал отчета.

Подозрительного Армякова разъяснение не убедило.



На мое счастье, его вскоре повысили — назначили ответственным секретарем.

Новый заведующий Петр Степанович Турышев был тихий алкоголик. Как ни странно, ежедневные возлияния лишь укрепляли его трудолюбие. Усаживался за стол, точно в прострации, клал перед собой стопку чистой бумаги и не поднимая головы изводил десть за дестью. Предпочтение отдавал очерку — жанру, который считался у нас высоким.

Мы не поленились с Татенко, сравнили два турышевских «шедевра». Звеньевая тракторной бригады пользовалась доброй славой в колхозе. Соответственно каменщик доброй же славой пользовался в тресте. Он был мастер на все руки, она была мастерица. Трактористка радовала глаз ровными бороздами пахоты. Строитель радовал глаз ровными швами кладки. Приближалось время обеда. Турышев не прерывал механического писания. Я звал его в столовую. Он отказывался.

Возвращаюсь сытый, разомлевший, Петр Степанович все так же в упоении испещряет страницы четкими писарскими буквами, окутанный вонючим дымом дешевых папирос.

Меня терзала совесть при виде этого не знающего роздыха мученика второй древнейшей профессии. Осторожно справлялся:

— Может, не при деньгах?.. — Клал на его стол назначенную про черный день десятку. — Возьмите до полочки.

Свирепо схватив деньги, он тотчас исчезал. Появлялся минут через пятнадцать, повеселевший, со свежим блеском в глазах.

— Что-то вы быстро...

— Пирожком на углу закусил, — говорил подобрев Турышев. На углу была забегаловка, где моей ссуды хватало на стакан водки с ливерным пирожком впридачу. — Хороший ты, Паша, парень, хоть и еврей, а хороший...

Залихорадило строительство Казахстанской Магнитки: опаздывало оборудование. Турышеву поручили организовать письмо рабочих к Маленкову и Булганину с просьбой о помощи. Чья это была идея, не знаю, без обкома, думаю, не обошлось. Петр Степанович составил текст и, вроде бы, познакомил с ним номинальных авторов, собрал подписи. Обращение трудящихся к руково-

дителям партии и правительства на первой полосе тиснула наша «Социалистическая Караганда».

В Алма-Ате акцию оценили как несвоевременную (не так уж все плохо на стройке!), как подрыв авторитета республики (а она куда смотрит?). Вину свалили на стрелочника. Турышев был исключен из партии, изгнан из газеты за обман и подлог; расписавшиеся в блокноте Петра Степановича под чьим-то нажимом отказались признать свои закорючки.

Тут как раз подоспело первое мое редакционное дежурство. Типографский оттиск вычитывал дотошно, с пристрастием неофита. Процесс был прерван приходом главного редактора.

— Ну, что у тебя? — спросил он, вглядываясь в кляки литсотрудника, и чем дольше смотрел, тем все более мрачнел. — Похоже, ты не понимаешь, что газета не может опаздывать...

— А ошибки?..

— Ладно, сейчас разберусь.

Через полчаса он снова прихромал в отдел, ругаясь по-матерному.

— Ты прав, старик. Будем все переливать.

Полиграфисты располагались через дорогу, на другой стороне проспекта.

— Люблю запах краски, шум машин и прочее, — сказал Боярский, когда входили в линотипный цех. — Я ведь начинал наборщиком, метранпажем.

Мы провозились до рассвета. Утром номер не попал к читателям.

— Ступай, старик, — напутствовал меня уставший, как и я, Боярский. — Поспи часиков до двенадцати, а после обеда встретимся в редакции.

Попал прямо на летучку. Творческий состав собрался у главного. Тот гневно громоздился над столом, и стол от этого казался меньше.

— Ночь я и наш новый литсотрудник провели в типографии, — начал Боярский. — Газета утром подписчикам не доставлена. Расцениваю случившееся, как чепэ. А какой срам печатаем?.. — Его бас уже гремел в полную мощь. — Калечим великий русский язык! Мое решение такое... Тебя как зовут? — вдруг повернулся он ко мне.

— Павел.

— А по отчеству?

— Семенович.

— Так вот, с сегодняшнего дня назначаю Павла Семеновича заместителем ответственного секретаря редакции. Без его визы ни один материал, будь он даже и лично мой, в набор не пойдет. А ты — это опять мне, — правь всех, никого не щади!..

Снова оказался я в подчинении у Армякова. Но Пров Яковлевич ответсекретарем усидел недолго: напившись допьяна в рабочее время, заперся в кабинете и не хотел никого впускать. Его вернули в отдел на место непрощенного — идеология! — Турышева.

Этот порок — приверженность к «зеленому змию», и вообще распространенный среди пишущей братии, в нашей редакции был почти повальным. Отчего? В Караганде, в двух шагах от Карлага и в окружении ссыльных, наверно, особенно тяжело было сохранять потребную опричникам прессы политическую незамутненность. Вот и зашибали, вот и глушили горькую.

Ну, а я сам и подобные мне? Что-то мы чувствовали, оказавшись там, где творилось душегубство, где безвинно страдали и погибали люди? Возвращаясь домой, на девятнадцатый квартал, шел мимо зоны — вышки с часовыми, высокая изгородь, отороченная колючей проволокой. Внутри корячились эки, кстати, строили жилье для нас, вольняшек. Терзался ли душевно, думал ли тогда, за что? Думал, но как-то не додумывал.

Однажды являемся с Володей в областную библиотеку — вход перегородил бортовой автомобиль, и на него грузят старые журналы. Глядим: «Красная новь», «Литературный критик», «Интернациональная литература». Слышали о таких, да никогда не видели.

— Куда это богатство?

— В «Утильсырье»?.

— И не жалко?

— Хранить не положено и негде.

— Мы бы нашли...

— Берите, что хотите, только быстрее.

Взяли, сколько могли унести, — комплекты за тридцать седьмой, тридцать восьмой годы. Принялись вечером читать. Пожухли листы, а ругань и разоблачения столь знакомые. И ведь укладывалась в голове противостественная формула: «Писатели — враги народа!». Вот где был мартиролог!..

Только теперь приоткрыли кровавую статистику: аре-

стовано, уничтожено было свыше шестисот поэтов, прозаиков, критиков. Это и по нынешним масштабам СП немало... «Литературная энциклопедия» дает ограниченную информацию, но кое-что все-таки сообщает. То и дело натыкаешься на статью, которая заканчивается словами: «незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно». В скобках после фамилии — даты рождения и смерти. Последняя чаще всего — год тридцать седьмой или тридцать восьмой. Но и сорок девятый и пятьдесят второй. Это у космополитов.

Помнишь, то было при тебе, я подошел к Науму Коржавину, сказал, что мы с ним почти сослуживцы, только работать в «Социалистической Караганде» мне довелось уже после его возвращения в Москву? Поэт оживился, пригласил в гостиницу — поболтать, потолковать об общих знакомых. Действительно, редакционный ретушер, сидевший со мной в одной комнате, рассказывал, что совсем недавно мой стол занимал отбывавший ссылку чужак по фамилии Мандель, он же Наум Коржавин, пострадавший за стихи против самого Сталина. Наум, по словам ретушера, питался в ту пору исключительно морожеными пирожками от лотошницы с угла, разогревая их на батарее центрального отопления.

Как-то к нам в секретариат постучалась немолодая женщина, представилась:

— Я — жена профессора Чижевского. Не поможете ли подписаться на «Огонек»? Муж обожает разгадывать кроссворды, а на почте говорят, что издание лимитировано.

Я без труда устроил подписку, оформив ее на себя. Благодарная профессорша приглашала «на чашку чая», но все было недосуг. И как потом было обидно, что упустил возможность видеть и слышать гениального ученого, мудреца, которого мир давно считал погибшим, а он, выйдя из лагеря, безвестно творил в Караганде, думая о будущем этого мира. И не сочти, ради Бога, будто опасался общаться с преследуемым. Просто не догадывался, кто такой Чижевский.

Рядом, в Долинке, заключенные — цвет нашей агрономической науки — устроили подлинный оазис посреди бесплодной степи. Выращенные там помидоры и огурцы продавались в обкомовском буфете. Я ни разу не съездил в Долинку. И только через много лет узнал от Оксаны Евгеньевны Артеевой-Николайцевой подробности

тамошнего существования. Эки-ученые собирали в своем каторжном раю баснословные урожаи плодов и овощей. Кормили все начальство Карлага. Но и сами спасались от голода и цынги, и товарищей по несчастью спасали.

В Караганде же мне довелось услышать трагическую повесть об утопленном в крови Джекказганском восстании. Его возглавил полковник, из тех, кто прошел через немецкий плен. Заключенные изгнали внутреннюю охрану, устроили самооборону, стену между мужской и женской зоной сломали. Соединялись пары, священники венчали их под открытым небом.

Вступать в переговоры с представителями областной, республиканской власти восставшие отказались наотрез. Требовали Председателя Президиума Верховного Совета. Им сулили: вот-вот прилетит Ворошилов. А тем временем подтягивали войска...

...После ночного дежурства Боярский ко мне благоволил, часто вызывал к себе.

— В секретариате тебе засиживаться нельзя. Вступишь в партию, поедешь собкором на Казахстанскую Магнитку от нашей газеты. Закончат завод — получишь орден... И жениться надо. Только не на еврейке...

— Это почему же?

— Чтоб дети были русские.

Неожиданное повышение по службе увеличило мою зарплату — теперь я получал тысячу рублей в месяц, но совсем не выкраивалось времени, чтоб писать самому, а, значит, не перепадало и гонорара. Да и учебу пришлось оставить. Я поступил в сентябре на вечернее отделение электромеханического факультета горного института, поскольку считал, что журналисту нужны конкретные знания. Пока был литсотрудником, поспевал к семи на лекции. У замответсекретаря день оказался ненормированный. Теперь не мог бросить дел по номеру. И жертвовал аналитической геометрией и сопроматом. Декан, который ходил в авторах газеты, прощал мне пропуски занятий. Окончательно с горным расстался лишь через год.

Раз в неделю у нас проводилась летучка.

— Читаете Дудинцева? — спросил на очередной Боярский.

— Читаем, — почти хором ответили сотрудники.

— Ну, и как?.. Здорово! И берет, черт, самое боль-

ное! Знаете что? — предложил Боярский. — Давайте обсудим роман. Я позвоню в библиотеку, попрошу несколько номеров журнала. Месяца хватит на подготовку? Потом соберемся, поговорим как профессионалы. Надо разобратся, чем он берет, этот писатель.

Редактора поддержали. А через несколько дней появилась «Литературка» со стенограммой дискуссии вокруг «Не хлебом единым» в Союзе писателей СССР. Паустовский говорил, что именно таких дроздовых с маленькой буквы он видел недавно на теплоходе «Победа», совершая круиз вокруг Европы. Симонов, хотя и напечатал роман в «Новом мире», теперь осторожничал. Мы старались читать между строк — правда камуфлировалась умело...

В те дни в Караганду приехал на гастроли киноактер Иван Переверзев. Я встретился с ним по заданию отдела культуры. И когда искусствоведческая, так сказать, часть беседы подошла к концу, спросил, как в Москве относятся к «Не хлебом единым», что с автором. Артист оказался пылким сторонником Дудинцева, передал одно из выступлений писателя, в котором тот вспоминал о зарождении своего замысла. Это было, по словам Переверзева, на фронте, когда будущий писатель наблюдал из окопа отчаянный и безнадежный бой советского фанерного «ястребка» с «мессерами».

— Ведь «мессершмидт» — наш самолет, туполевский, — просвещал меня Переверзев. — Конструктора посадили, а жена отдала немцам его модель. Те сделали и ею нас же и били...

Не проверял, — как такое проверишь? — что было в действительности. Но теперь-то все знают, что знаменитый авиастроитель не один год провел в «шарашке». Да разве уж вовсе и не важно, о чем толкует молва?..

Накануне редакционной читательской конференции «Известия» напечатали два подвала не ведомого нам Платонова. Роман Дудинцева был обозван вредным и клеветническим. Возмутившись от всей души, мы с Володиной отбили известинцам телеграмму «Платонов нам не друг, но истина дороже». Наши же говорили, что статья эта — следствие указания с самого верха.

Казалось, Боярский отменит обсуждение. Но нет, точно в назначенный день сплоченный коллектив собрался в кабинете главного редактора, отделенном от ос-

тальных помещений роскошным, под красное дерево тамбуром.

— Товарищи, — начал Федор Федорович, — мы сошлись сегодня здесь, чтобы осудить антипартийный, антисоветский роман Дудинцева «Не хлебом единым». Кто хочет высказаться?

Меня будто подхлестнуло:

— Не далее, как месяц назад роман аттестовался совсем по-другому. Коммунист не может идти против мнения партии, это известно. Однако, возникает вопрос, и я адресую его Федору Федоровичу: каким образом вам удалось столь быстро пересмотреть свою точку зрения и прийти к прямо противоположному выводу?..

Что тут началось? «Старики», а они составляли у нас большинство, возмущались моей бестактностью и зазнайством, в один голос приписывали мне аполитичность и склонность к двурушничеству. Молодые ребята — Володя, две недавние выпускницы КазГУ, к чести их, попетушину наскაკивали на обвинителей, выражая свою поддержку нарушителю спокойствия. Схлестнулись поколения. И демократический централизм и здесь был безотказен: меньшинству пришлось подчиниться. Но даже посрамленное, оно не признало упреков в демагогии и злоупотреблении псевдореволюционной фразой. Надо было спасать товарищей, и я опять вскочил с места.

— Недавно один москвич рассказывал, что Дудинцев задумал книгу на передовой, — далее следовала история, услышанная от Переверзева. — Пером автора «Не хлебом единым» двигала боль. И она передалась всем нам, пусть зеленым и неопытным, но бесхитростным и искренним. Вы клеите молодежи идеологические ярлыки, а ведь мы — живой барометр общественных настроений...

Договорить не дали — Боярский объявил собрание закрытым, а на следующее утро вызвал меня «на ковер».

— Ты какие знаешь языки? — спросил главный для затравки.

— Молдавский и немецкий, кроме русского, конечно.

Скрипнула за спиной дверь — в кабинет прошел секретарь партийного бюро, сел на диван. И только теперь я заметил, что там уже примостился маленький гномик — директор типографии, где печаталась «Социалистическая Караганда».

— Заграничное радио слушаешь?

— Нет.

— Почему?

— Приемника нету.

Тут к разговору подоспело еще несколько человек. Потом стало понятно, что это они всем составом руководства партячейки допрашивали комсомольца.

— С трудами Троцкого где познакомился?

— Троцкого?..

— Откуда знаешь про «барометр революции»?

— А, вы вот о чем... «Вопросы ленинизма» изучал в университете. Там Сталин разбирает «Уроки Октября» Троцкого и его теорию барометра революции.

— Ах ты, гад! Молодчики, вроде тебя, твою мать, в Будапеште по нашим солдатам из автоматов стреляют!.. Давить вас надо, мать вашу так!

— К чему тогда этот разговор?.. Номер телефона известен, позвоните, за мной приедут на «черном вороне»... — Слова комьями застревали в горле, с натугой их протаскивал. Не совсем ясно помню, как покинул кабинет, как оказался дома.

Я жил тогда на частной квартире, снимал комнату вместе с Володиным сослуживцем по сельхозуправлению. Татенко нас и свел. С. Мозем в томике своих воспоминаний «Подводя итоги» уверяет, что предпочел бы на необитаемом острове провести год с ветеринаром, нежели с премьер-министром. Мой компаньон был как раз ветеринар. Он, к счастью, был в командировке. Промаялся до вечера, обдумывая возможные последствия инцидента, но ни к чему утешительному так и не пришел.

Вскоре после шести прибежал Володя. Ему, обычно сдержанному, едва удавалось скрыть волнение.

— Что там у тебя произошло с Боярским?..

Судили мы, рядили, как быть.

— Отправляйся-ка ты утром в редакцию, будто ничего и не было, — мудро предложил Володя. — Там поглядим...

Пришел, сел за стол, уставясь в какую-то статью, а букв не различаю. Является секретарша.

— Зайдите к Федор Федоровичу.

Боярский кивает на стул.

— Ну, ты меня прости — не держи в сердце зла. Я вчера был с тобой груб, погорячился — выбрось из головы.. Но вот хочу рассказать тебе то, что слышал от начальника Карлага. В сорок пятом или в сорок шестом году в Мариупольском порту грузили судно пшеницей.



Мимо, гуляя по набережной, проходили две девчушки, ученицы десятого класса. Одна другой и говорит: «Самим жрать нечего, а куда-то отправляем». Чье-то недоброе ухо оказалось рядом. Дали девчушкам по червонцу. Были семнадцатилетними, невинными, недавно освободились прожженными бабами — прошли Крым, рым и медные трубы. А закончил начальник лагеря так: «Не лучше ли было задрать им повыше подолаы да надавать по одному месту — не болтайте, чего не разумеете». — Боярский выразительно на меня посмотрел и добавил: — Иди, работай.

Мне-то сошла передрыга из-за «Не хлебом единым», но для Дудинцева она имела непоправимые последствия: замолчал до самых «Белых одежд». В шестидесятые годы встречал его в редакции «Дружбы народов». Он перебивался внутренними рецензиями, жаловался на детей, которых у него четверо или пятеро:

— Никак не оторву от сосцов...

...Все-таки неловко, казалось нам с ветеринаром, что не справили новоселья. И было решено устроить мальчишник.

Когда передавал приглашение Меиру Гельфанду, — это он помог найти комнату, — тот спросил:

— Можно, приведу двух ребят? Вместе припухали на нарах — отличные ребята.

Меир учился на втором курсе медицинского института, а был года на два старше меня. И еще Меир работал фельдшером в шахтерской больнице — дежурил по ночам.

Я уже упоминал о винницком литературном кружке, где читали поэму Алигер «Твоя победа». Среди кружковцев был и Меир.

В ту послевоенную пору редкому выпускнику средней школы не удавалось продолжить учебу в высшем учебном заведении — было бы желание. Гельфанд поступил в Киевский медицинский. Все же какой-то особенно тупой его одноклассник никуда не попал и, чтобы насолить своим товарищам, настроил донос: читали и обсуждали сионистскую поэму. Любители лироэпического жанра получили по десять лет.

Меира, бывшего студента-медика, московский академик-заключенный пристроил в лагерной санчасти. Свети-

ла медицины были в ней рядовыми врачами. Меир стал сначала санитаром, потом «братом милосердия». Окружение было для него благотворным. Да и сам не терял зря времени: осваивал будущую специальность, штудировал историю, философию, языки.

Меир провел в лагере шесть лет. Освободился после смерти Сталина. В Киев, однако, дорога была заказана, и он подался в Карагандинский медин.

Наше случайное знакомство, а свели нас поиски комнаты, довольно скоро перешло в подобие дружбы. После лекций Меир иногда заглядывал в редакцию, навещал его и я.

На новоселье Меир и его ребята принесли бутылку аптечного спирта. Ребята оказались много нас старше: Миша Шотланд был недоучившийся из-за ареста московский студент, второй — провизор родом из Польши — смотрелся и вовсе пожилым человеком.

Разбавляли водой ректификат, галдели, пели песни — русские, еврейские, лагерные. Вдруг кто-то из гостей вспомнил:

— Мужики, завтра Росышы-шуны — еврейский Новый год! Выпьем!

Бабушка говорила, что я родился в канун еврейского Нового года. У меня в метрике — 30 сентября, дело же было в октябре — лунные месяцы не совпадают с календарными.

Минуло несколько дней. Вдруг звонок: срочно вызывают в военкомат. В указанном кабинете меня ждал товарищ в штатском, предъявил удостоверение сотрудника КГБ.

— Нужно побеседовать. Будьте в Комитете государственной безопасности сразу после шести. Пропуск заказан. И никому ни слова о нашей встрече.

Тут бы и возразить: дескать, конспирация уже нарушена — военком-то в курсе. Да ведь все равно не могло бы...

Это все в Караганде находилось рядом — редакция, обком, управление КГБ. В четверть седьмого я переступил порог одиозного сего учреждения. Принимали меня двое чекистов: давешний, что был в военкомате, и другой, повыше чином.

— Давно знаете Гельфанда?

В моих приятелях ходил еще один Гельфанд — Филипп. Тебе случалось потом видеть его в Москве, мы с

тобой даже его докторскую диссертацию «обмывали».

— Как приехал сюда.

— Где познакомились?

— В городском доме отдыха «Шахтер». — Сообразил, что их интересует Меир, но подсовывал Филиппа. Этому, думал, не повредишь — свояк первого секретаря горкома партии.

— А Меир Гельфанд, что он собой представляет?

— Он ваш подопечный.

— И какие вел с вами разговоры? — спросил молчавший дотоле начальник.

— Простите, но почему я должен пересказывать свои частные разговоры?..

— Вы комсомолец, работник партийной газеты. Мы вправе рассчитывать на вашу помощь. Комитет государственной безопасности и орган обкома партии делают общее дело. Политическое доверие надо оправдывать...

— Я и оправдываю его честной работой.

— Вы с Меиром Гельфандом организовали встречу еврейского Нового года. На ней пели сионистские песни, произносили тосты.

— Вас неверно информировали. Праздновали новоселье. Гельфанд помог найти комнату, потому и был среди гостей. А что, отмечать еврейский Новый год запрещено?..

— Нет, конечно. Скажите, Меир не предлагал вам вступить в сионистскую организацию?

— Да вы что?!

— Понимаю ваши чувства, — сказал начальник.

— Еще раз предупреждаю: о вызове в комитет распространяться не следует, — добавил подчиненный..

— В моих ли это интересах? — ответил я, получая пропуск на волю.

Долго плутал по кромешным улицам, мнил — запутываю следы. Донесли!.. Соседи? Кто-то из Меириных дружков?.. Завербовали в лагере — до сих пор «стучит»...

Было около полуночи, когда я торкнулся в окно к Гельфанду. Выглянул сожигатель.

— Меир дома?

— Нет.

— В больнице?

— Не знаю.

Меир исчез, точно был предупрежден о грозящей ему опасности.

Только через много лет ветеринар открылся мне: и его тогда вытащили в КГБ. А потом и бывший сожитель Меира признал: что и он не избежал допроса. От него стало также известно о том, что предшествовало исчезновению Гельфанда.

Меир ехал с ночного дежурства в рабочем поезде. И тут к нему привязалась милиция — искали якобы вора, обокравшего кого-то из пассажиров. Бывалый лагерник учуял неладное. Утром ему удалось скрытно покинуть Караганду. Как он истребовал нужные документы, как оказался в Московском первом медицинском институте, не ведаю. Но он закончил его и стал дипломированным врачом.

Столичные сокурсники Меира лет десять назад в случайном разговоре сообщили мне, что, защитив кандидатскую, он преуспевал в каком-то НИИ, пока не уехал в Израиль, увезя с собой русскую жену и тещу. Там деятельный Меир возглавил ассоциацию медиков — выходцев из Советского Союза.

...Боярского перевели в Алма-Ату ответственным редактором «Казахстанской правды». На место Федора Федоровича пришел Николай Степанович Марфин, служивший прежде корреспондентом газеты «Правда». Мои отношения с Марфиным были испорчены еще до того, как он сделался нашим шефом. Стол замсекретаря всегда был завален репортерскими сообщениями обо всех интересных областных событиях. Представитель центрального органа ежедневно являлся перед засылом материалов в набор, словно невзначай, спрашивал:

— Ну, что новенького? — и, не дожидаясь моего ответа, начинал рыться в ворохе бумаг, отбирая для себя наиболее выигрышную информацию, собранную усилиями многих людей.

Мне такое паразитирование на чужом труде было не по душе, и я не скрывал этого. Страдала и наша газета. «Правда» выходит каждый день, мы пять раз в неделю. Получалось, что иные новости «Социалистическая Караганда» доводила до читателей, как говорят журналисты, «в собачий голос», то есть во след московской старшей сестре, хотя узнавала о них первая. Как было не возмутиться?..

Вскоре после прихода к нам Марфин заявил близкому своему окружению:

— Не успокоюсь, пока не разгоню синагогу!

Клеветы постарались донести его слова до тех, против кого они были направлены.

В самом деле, по стечению разных обстоятельств, число евреев в редакции оказалось относительно велико. Завотделом угольной промышленности и ответсекретарь пришли с шахт сразу после войны. Завкультурой приехала к ссыльной матери — отца расстреляли — в конце сороковых годов. Заведующий отделом пропаганды был уволенный из армии в период сталинской чистки политработник. Я да еще Галя Берковская появились в качестве молодых специалистов.

Шесть иудеев на коллектив в двадцать с небольшим творческих единиц — чем не перебор! Но Боярский мог себе позволить подобное. Газетчиков, не тех, что продают, а тех, кто делает газету, причем, непьющих газетчиков, всегда не хватало, и поэтому обком на еврейский крен редакции смотрел сквозь пальцы.

Не знаю, как обставил Марфин возвращение в отдел угольной промышленности ответсекретаря, мне же, его заместителю, было сказано так:

— Ты — парень молодой. Рано тебе руководить. Иди в забой: нам подземные репортажи нужны.

Половина «синагоги», точно ранние христиане в катакомбы, была загнана в кромешную темень штреков и лав. Проводя по многу часов на горнодобывающих предприятиях бассейна, мы обеспечивали редакцию самыми важными в местных условиях материалами. И мудрый зав радовался такому суверенитету: кроме нас никто в «конторе» не смыслил в угле ни бельмеса.

Мое очередное дежурство совпадало с днем рождения Леша Артеева.

— Да освободись ты как-нибудь, — просил Леша.

Новый ответсекретарь был великодушен:

— Гуляй на здоровье — заменим, завтра оттрубишь.

— Значит, свободен?

— Я здесь — кто?!

Утром прихожу на работу — вызывают на заседание редколлегии. Против обыкновения, она собралась у Колчина и под его председательством.

— Вы почему сорвали дежурство по сегодняшнему номеру? — хмуро спросил зам.

— Это не так. Ответсекретарь разрешил мне отде-  
журить в другой раз.

— Ничего я не разрешал, — не моргнув глазом, воз-  
разил секретарь.

— Наверно забыли назначить замену... Не пристало  
солидному человеку и коммунисту говорить неправду!

— Нет, не забыл! И нечего валить с больной головы  
на здоровую!..

— Да как же так? — недоумевал я.

А Колчин уже формулировал:

— За нарушение трудовой дисциплины — срыв де-  
журства — вынести литсотруднику Сиркесу строгий вы-  
говор с последним предупреждением...

Возражений не последовало.

Черед снова дежурить наступил примерно через ме-  
сяц. Бдительно отстоял вахту и с сознанием исполненно-  
го долга отправился домой. Но на следующий день надо  
мной опять учинили расправу.

— Во время вашего бдения в кавычках допущена  
серьезная политическая ошибка — в передовой по сель-  
скому хозяйству в десять раз занижена урожайность  
одной из культур, — начал Марфин. — Каким образом  
это могло произойти?..

— Не представляю. Мы дежурили вдвоем с членом  
редколлегии — завсельхозотделом. Он же — автор  
статьи. Кому, как не ему разбираться в таких цифрах?..

— Запятая сдвинута на один знак влево — вот и де-  
сятикратное уменьшение, — объяснил тот, с кем я вместе  
нес ответственность за номер, причем, таким тоном, буд-  
то он и сам пресек бы идеологическую диверсию, если б  
не излишняя его доверчивость.

— У Сиркеса уже есть строгий выговор с последним  
предупреждением, — сказал главный. — Надо увольнять.

Приказ был вывешен тотчас же.

— Они не имели права уволить тебя без нашего со-  
гласия — ты ведь член месткома, — кипятился Володя.

Собрали местком. Нас в нем было пятеро. Председа-  
тель Володя, одна из девчонок, которая уже наострила  
лыжи в Алма-Ату, и я проголосовали против. С выпис-  
кой из протокола отправился в областной совет проф-  
союзов.

— Мы, конечно, попытаемся вам помочь, — заверили  
там, — но, сами понимаете, редакция — особое учрежде-  
ние, она в ведении обкома.

В обком собрался, да перехватил меня секретарь нашего партийного бюро.

— Послушай, Паша, мой совет: тебе с Марфиным не сработаться. Знаю, собираешься в аспирантуру. Поезжай в Москву. В трудовой книжке запишем, что уволен в связи с отъездом на учебу. Так для всех лучше. Это мнение и Николая Степановича. И не упрямясь, не то поломают тебе жизнь — «телеги», они далеко катятся...

Бороться? Нет, я принял это предложение, хотя накануне пришло извещение, что к экзаменам не допущен. Как-то мне разом опротивели и редакция, и город, который приютил на два последних года. Сдал комнату, запасся соответствующей справкой, что сдал, а Марфин потом объявил на летучке — продал Сиркес редакционную площадь. И был таков.

Отказался от борьбы, потому что хорошо запомнил пьяные признания Лени Маслова...

Мы познакомились в Карагандинском отделении общества «Знание», где он якобы работал референтом и еще читал лекции о международном положении. Тут ничего не было удивительного: Маслов окончил МГИМО. Почему дипломата заслали в Центральный Казахстан? Вразумительного ответа на этот простой вопрос получить не удавалось, пока не случилось нам крепко выпить в компании с ним да еще с Лимоновым. Вдруг Леня вытащил откуда-то пистолет и, для убедительности подбрасывая его на ладони, сказал:

— Никакой я, ребята, не референт. Весь наш курс двинули в госбезопасность... — Окинул собутыльников мутным взором и добавил: — Берегитесь! Каждый маломальски заметный человек внесен в картотеку. Журналисты — все... Стоят карточки в ящиках, диагональю, как на сертификатах, — красные, синие, желтые полосы — по степени преданности, лойяльности или враждебности режиму. У тебя, Лимонов, — красная, значит, свой. А ты, Сиркес, уже в синих...

Можно ли проверить правдивость подобной информации?.. Но, с другой стороны, зачем Маслову врать?.. Нет, нет, бежать, бежать подальше, бежать туда, где твои корни, где ты свой — честный советский человек.

Мне полагался отпуск. Я проводил его в Тирасполе, у мамы. И все-таки не усидел на месте, поехал в Киши-

нев, к Рошину. Он был почти столь же приветлив, как два года назад.

— Перья нужны, свободных ставок нет. Пойдешь на пятьсот рублей? Зато близкий тебе сектор литературы и искусства...

«Молодежь Молдавии» и внешне отличалась от других газет. Она первая в нашей печати применила фигурную верстку, располагая материалы на полосе свободно — не в виде кирпичей. И по содержанию была смелой, проблемной. Нипочем должностные ранги. Важны правда, принципиальность, честность.

Редактор «Молодежки» Федор Дмитриевич Рошин совсем не походил на отчаянного, дерзкого человека. Сотрудники справедливо считали его скорее мягким и нерешительным. Но всякий раз он, как принято говорить, шел на поводу у коллектива. Верно, Рошину для неординарной акции требовалось время — поразмыслить, посоветоваться.

Зато уж, случалось, в одном номере под огонь попадали сразу до шести министров. Сенсационные статьи, разоблачающие бюрократию, настолько повышали спрос на «Молодежку», что «жучки» торговали ею из-под полы по пятерке (в старом масштабе цен) за штуку.

Лишь немногим было известно, что перед такими серьезными выступлениями Рошин консультировался с самим Гладким. Еще совсем недавно тот состоял первым секретарем ЦК КП Молдавии, причем, Федор Дмитриевич как раз и способствовал столь высокому взлету своего патрона. Каким образом? Да очень просто. Служа собкором «Советской Молдавии» в Рышканах, где Гладкий был секретарем райкома, Рошин столь красочно расписывал достоинства провинциального руководителя, что, покинув виноградную республику, Л. И. Брежнев порекомендовал его взамен себя.

Продержался Гладкий всего около двух лет. На державный пост был прислан З. Т. Сердюк. Близкие к престолу журналисты, видимо, не без высочайшего разрешения по привычке шепотом распространяли слышанный от самого такой политический детектив (он, кстати, подтвержден недавно в журнальных публикациях. Еще в бытность свою главою Львовского обкома Зиновий Тимофеевич водил дружбу с председателем областного КГБ. Однажды тот приходит и показывает циркуляр Берии — собирайте компромат на партийную верхушку.



Куда ни бросали Сердюка — парторгом Большого театра или замполитом полярного похода ледокола «Сибиряков», членом военного совета или аппаратчиком Украинского ЦК, всегда он соответствовал месту и пользовался полным доверием. Впервые оказался в положении подозреваемого... В Киеве работал под началом Хрущева, тот его жаловал. Теперь Никита Сергеевич — лидер партии. К нему и решил лететь Сердюк.

Дальнейшее хорошо известно: Хрущев разоблачил Берия, а Сердюка наградил за безобманное партийное чутье орденом Ленина и возвел в должность, которую занимал Гладкий.

С Гладким проблем не было — его передвинули в председатели молдавских профсоюзов. Пестуя школу коммунизма, он и давал советы Рощину. Советы эти на поверку таили в себе опасность, которая в конце концов и погубила нашего редактора. Но все по порядку...

«Молодежка» выявляла недостатки. Они не могли быть отнесены к прежнему правлению, потому что Гладкий у власти пробыл недолго. И поскольку близость Рощина к нему была секретом Полишинеля, критические выступления газеты как бы подчеркивали, что беды-то начались при Сердюке...

Не снеся тоски по утраченным высотам, Гладкий заболел и вскоре умер. Его похороны — многолюдное траурное шествие по центральному проспекту Кишинева — были нарочито пышными, будто новый вожак республики хотел показать, что старый ему не страшен и мертвый.

Живого Гладкого мне видеть не доводилось. С Сердюком постоял рядом однажды, но уже в Москве. С улицы Горького мы ходили с маленькой Сашей гулять на Тверской бульвар. Пока дочка играла с ребяташками, я читал «Советскую Молдавию» — там на стендах республиканские газеты вывешены.

Тогда все они были на одно лицо, отличались только названиями, вернее, второй половиной. «Советская...» и дальше — Киргизия, Латвия, Эстония. И все же можно высмотреть, кто умер, кто процветает, кто пописывает до сих пор статейки. Вот затем-то и пританцовывал на морозце у щита. Гляжу, сбоку топчутся чьи-то ботинки войлочные с кожаными носками и задниками, прозванные в народе «прощай, молодость». Какому, подумал, одуванчику интересны молдавские дела?.. Скосил глаза:

«Ба, да это Зиновий Тимофеевич!» Присеменял почти от Центрального телеграфа. Значит, крепко его забрала Молдавия! Стоит приземистый старик, на челе — ни мудрости, ни воли. Может, только некая отгороженность от прочих разных заметна в пенсионере «союзного значения». Надо же придумать такое!..

А тогда здорово мне досталось из-за одного лишь соприкосновения с Сердюками! Младший Сердюк, Виктор, приехал к нам на практику. Большой, красивый, как молодой бог, и силен — метатель молота. Старались приспособить этого гиганта к газетной работенке, что плохо удавалось. Лимонов (он вернулся в Кишинев в апреле, за четыре месяца до меня, — взял отпуск и навсегда смылся из Караганды) предложил завлечь Витю балетом. Наше задание гигант выполнил с горем пополам, зато проявил интерес к солистке. Но стажер должен отписаться, то есть привезти в университет несколько опубликованных материалов. Обаятельный Витя попросил нас поставить его фамилию под двумя-тремя своими статьями. Мы согласились не без колебаний. Не устояли вот почему: как-то он намекнул, что Сердюки — неродные ему, взяли на воспитание в тридцать седьмом, после ареста отца с матерью.

В гонорарный день Витя выкладывает восемьсот старых рублей.

— Это ваше.

— Да ты что!.. — возмутился Лимонов.

— Ладно, вечером в кабак завалимся.

— Не пойдем с тобой в кабак, — возразил я, вспомнив недавний инцидент.

Было так. Редакционный поэт под конец работы вдруг объявил:

— Ребята, у меня сегодня день рождения!

Сообща решили устроить парню праздник.

— Пойдемте ко мне, — предложил Лимонов. — Хозяйка в отпуск уехала.

Накупив вскладчину вина и закусок, мы отправились на лимоновскую квартиру.

Весело шумела пирушка. В одиннадцатом часу раздался властный стук в дверь.

— Неужели вернулась хозяйка? — обеспокоился Лимонов и кинулся открывать.

Отстранив его рукой, в комнату прошел мужчина со стертой, незапоминающейся внешностью.

— Витя, за мной! — неожиданно твердо сказал он.

Гигант послушно встал и молча вслед за незнакомцем покинул пир. На следующее утро, в редакции, Витя объяснил, что это был телохранитель отца.

— Как же он узнал? — наивно удивился кто-то.

— Работают люди! — усмехнулся Витя.

И вот теперь, признавая резонным отказ идти в ресторан, гигант спросил:

— А куда бы вы хотели?

— Пригласи домой, — сказал Лимонов.

— Стесняться будете...

— Это почему же? — спросил Лимонов. — Я подойду к твоему батю, сделаю так, — он изобразил похлопывание по плечу, — поинтересуюсь: «Как живете-можете, Зиновий Тимофеевич?..»

— А он вот так делает, — ответил Витя и жестом же показал, как нажимают на спрятанную под столешницей кнопку. — Нет, лучше соберемся вокруг ножек... — Он имел в виду солистку. — Мать пообещала для проводов отменную жратву и питье.

Выходило, что междусобойчик собирается сразу по двум поводам: гонорар совпал с окончанием сердюковской практики.

К вечеру прибавился еще один — получил пересланный Володей билет Союза журналистов СССР. Пока выгоняли из карагандинской газеты, пока отдыхал в Молдавии и снова устраивался, меня утвердили в Алма-Ате членом вновь созданной ассоциации.

По пути с почтамта забежал к Римме — поделиться радостью, что принят в СЖ, сказать, что занят вечером.

Ты знакома с Риммой. Как с ребенком возился с этой трогательной и взбалмошной девочкой. Неверной моей подругой. Мучился, страдал. Но она помогла мне понять простую истину: любить важнее, чем быть любимым, и чем большим поступаешь для дорогого человека, тем к нему сильнее привязанность.

— Мама говорит, из-за того, что еврей, ты немного добьешься в жизни, — умерила Римма восторг от обретенного членства. — И она никогда не позволит, чтоб я вышла замуж за человека без будущего.

Припелся к сердюковской зазнобе. Ребята не прощали опоздания, совали штрафную.

— Пей! — кричал Витя. — За журналистский билет выпьем все вместе!

Влил в себя стакан брэнди, закусил ломтиком консервированного ананаса — хмель сразу ударил в голову.

Лимонов заметил, что я не в себе.

— В чем дело, старик?

— Пойдем отсюда — расскажу...

Уйти удалось лишь во втором часу ночи.

Пробовали увести с собой и Сердюка — безуспешно. Он дурашливо отбивался, развалился на тахте.

— Да ну его к черту! — озлился бывший душой компании ответсекретарь «Молодежки».

— Хочешь остаться, сказал бы прямо... — с поэтической непосредственностью урезонил Витю наш доморощенный бард и в сердцах хлопнул дверью.

Проснулся с больной головой, глянул на часы: ба-тюшки, рабочий день уже начался. Наспех умылся, покрутил электробритвой у щек — и в редакцию.

— Мать Сердюка приезжала... — сообщил с порога поэт. — Скандал! Ищет сынка... Шухер в конторе!

— Лимонов здесь?

— Не приходил.

Я помчался к Лимонову.

Минут через тридцать четверо участников вчерашне-го сабантуя были вызваны в кабинет заместительницы главного редактора.

— Вы думали, сукины дети, с кем пьете?! — орала она вроде бы на всех, но почему-то получалось так, что словесный залп попадал в нас с Лимоновым. Ответственный, он же партийный секретарь редакции, как бы присутствовал на экзекуции от общественности. Юный бард — что возьмешь с преступника-малолетки, которого даже закон щадит?

— По-вашему, Сердюк из другого теста?.. — спросил Лимонов.

— Негодяи, не дорожите честью коллектива! Теперь в ЦК точно сложится мнение — в «Молодежке» раздолье алкоголикам!..

— Ваш тон... — начал было я.

— Молчать!.. Пили черт знает где, бросили товарища...

— Виктору, между прочим двадцать три — не ребенок... Мы были его гостями, — вставил Лимонов.

— Сводники, подонки! — продолжала орать заместительница. — Тон ему, видите ли, не нравится...

— Ты — как хочешь, а мне здесь делать больше нечего, — бросил я Лимонову и покинул кабинет.

Сердюк объявился в редакции, когда уже висел приказ:

«Такого-то числа литсотрудники Сиркес П. и Лимонов Н. организовали пьянку. На следующий день вышли на работу с опозданием: Сиркес — на полчаса, Лимонов — на час.

За организацию пьянки и нарушение трудовой дисциплины Сиркеса уволить, Лимонову объявить строгий выговор с последним предупреждением»:

— Видишь, что получилось? — упрекнул Виктора поэт. Он терзался тем, что избежал кары.

— Сейчас все уладим, — сверкнул ямочками Сердюк и двинулся к замглавного.

— С тобой, Виктор, я на эту тему говорить не могу, — изобразила сожаление наша судья.

Ей позвонила мать Сердюка по его просьбе. И услышала ответ:

— Не беспокойтесь, пожалуйста. Все у нас в редакции совершается, как надо.

Снова я лишился работы. При расчете бухгалтер Партыздата не скрыл своего удивления:

— Вот уж не знал, что вы пьете...

Карагандинский опыт научил меня — закон не для журналистов писан. Боец идеологического фронта может уповать лишь на того, кто этим фронтом командует. Стал добиваться приема у первого секретаря ЦК комсомола Молдавии.

— Что приуныл, алкоголик? — с усмешкой спросил первый. Он, видимо, слышал о происшествии от жены, которая заведовала у нас отделом писем. — Расскажи, расскажи, как было дело, ничего не утаивай.

— Тут и рассказывать нечего.

— Вот это по-мужски, — одобрил секретарь. — Перестраховалась замша... Приедет редактор — отменит приказ.

Когда Рошин вернулся из санатория, я был восстановлен.

— На компенсацию за вынужденный прогул не надейся, — сказал Федор Дмитриевич. — Да невелика потеря из пятисот-то рублей... Ладно, потерпи. Выбиваю для тебя ставку.

Рощин не подозревал, что над лишившейся покровительства «Молодежкой» уже нависла беда: ее решили слить с молдавской «Тинеримя Молдовой». А ведь он уже готовился пересесть в кресло редактора партийной «Советской Молдавии». Тут, — вот так хитрость! — привили дичок к плодovому дереву, и получился нелепый молдавско-русский печатный гибрид. Плакала моя ставка. Но и Федору Дмитриевичу зажегся красный свет. Ведь невозможно же, право, делать газету, не разумея языка, на котором она выходит.

Вскоре после Нового (1960) года вызывает Рощин.

— Чей на тебе костюм, какой страны?

— Чешский.

— Импортный, значит...

— Так ведь лучше шит.

— Все верно. В ЦУМе пылятся костюмы производства швейной фабрики № 1 на миллион рублей. Займись — подними проблему.

Начал с торговли, потом обратился к модельерам, к текстильщикам, швейникам. Люди понимали, что положение ненормальное, предлагали какие-то меры, убеждались в их неэффективности и... продолжали работать по-старому. Типичный случай: художники сочинили красивую и недорогую модель, когда же она попадала на фабрику, то оказывалось, что нет нужной ткани или отделки, фурнитуры, или бортовки. Машины устарели. Технология себя изжила. Радикально что-нибудь изменить мешал план, утвержденный на пять лет вперед. Пока шли переговоры, согласовывались неувязки, уламывались вышестоящие инстанции, гнали продукцию, которой место разве что в лавке уцененных товаров. Если же иногда и удавалось изготовить хорошую партию, то она теряла вид на пути к покупателям из-за небрежных транспортировки и хранения.

Обо всем этом я настроил большую, по газетным масштабам, статью «Встречают по одежде». Ее опубликовали в воскресенье, 31 января. В понедельник на летучке обсуждались последние три номера. Рощин, не преминул заметить, что идея принадлежит ему, похвалил меня за основательность и остроту, предложив поместить «Встречают по одежде» на Доске лучших материалов недели и оплатить повышенным гонораром. А 5 февраля «Советская Молдавия» под рубрикой «Из последней почты» напечатала реплику «Об узких дудочках

и политическом недомыслии». В ней утверждалось: «П. Сиркес в разговор об одежде пытается привнести некие политические взгляды... примерно так же пишут о советских людях в капиталистической прессе наши недруги».

Через день «Молодежка» признала критику правильной. Мы сидели вдвоем с Роциным в его кабинете, обсуждали случившееся. Раздался телефонный звонок.

— Из ЦК,— шепнул Федор Дмитриевич, прикрыв ладонью микрофон.— Как попала на страницы газеты статья «Встречают по одежде»? Это-то мы сейчас и выясняем. Я только из командировки... Нет, Сиркес у нас не в штате. Да. И печатать больше не будем.— Положил трубку и со смущением в голосе обратился ко мне:— Вот так-то, дорогой. Спасать надо редактора... О тебе позаботимся позже. Мой тебе совет— уезжай куда-нибудь на время. Я запрашивал сектор печати ЦК ВЛКСМ, предлагают молодежные газеты на выбор, кроме Москвы, Ленинграда и Киева.

— Ославили на всю республику... Нет, оболганный, я отсюда не уеду.

Сотрудники сочувствовали, тискали мои писанья под разными псевдонимами. Анонимных выплат едва хватало на мзду хозяйке за комнату. Тогда мне в первый раз пришло в голову: надо бросать вторую древнейшую. Были же в нашей семье мужчины столярами... И я смогу. Чистое занятие! Или, может, податься в школу, к детям? Диплом-то пропадает... Только возьмут ли теперь?..

Позвонил заведующему отделом пропаганды ЦК Компартии Молдавии.

— Нам с вами говорить не о чем! Впрочем, обратитесь к кому-нибудь из инструкторов.

После мучительных заочных объяснений, кто я да что, ожидания пропуска, проверки документов, сижу перед инструктором, молодым, видно, только из ЦПШ, молдаванином.

— Мы еще разберемся в социальных и национальных корнях ваших ошибок,— грозит инструктор, стараясь придать жесткость своему мягкому выговору с сонорным романским «л».

Я вскипел:

— Подпишите!— и сунул ему бумажку, по которой сюда прошел.

Голод не тетка... В середине марта снова обратился к заму — на этот раз письменно. Не каялся, но и не отрекся от обвинений, искренно доказывая, что у меня, советского человека и воспитанника комсомола, нет и не может быть взглядов, которые противоречат коммунистической идеологии.

Спустя несколько дней слышу в редакции:

— Из ЦК партии звонили. Сказали, чтоб ты связался с замзавом отдела пропаганды — вот номер телефона.

Назавтра принял замзав, по возрасту — пенсионер, да крепкий еще аппаратчик. Их много таких в середине сороковых годов приехало в Молдавию из России. В республике не хватало своих кадров. И интересы центра надо было блюсти.

— Нехорошо, нехорошо с вами получилось, — по-стариковски шамкал замзав. — Произошло, понимаете, недопонимание... Сейчас поднимают возню молдавские националисты. Вот и решили по ним ударить.

— А я-то, еврей, тут при чем?

— Ошибочка вышла.

— Оболгали, опозорили на всю республику! Опровержение — вот что нужно.

— Вы ведь не первый год в печати. Много видели опровержений? Начнете опять работать — значит, доверяем. Только где?.. Редактор «Молодежки» нехорошо с вами обошелся — не уживется. В «Советскую Молдавию» тоже нельзя. Остается издательство. Пойдете редактором в издательство?

— Пойду.

— Там лучше, чем в газете: оклад выше и независимости больше. А печататься будете по-прежнему, под своей фамилией...

— Спасибо.

— Идите прямо сейчас к директору издательства. Я ему позвоню.

— Сейчас же и пойду.

— Да, надо вот еще одну формальность уладить... Вы обратились с письмом...

— Так ведь наш разговор...

— Письмо необходимо закрыть, то есть составить новое, отзывающее его, делающее недействительным, поскольку вы в состоянии запальчивости... несколько...

— Там все правда.



— Ну, как хотите. Только тогда... тогда, не обессудьте, ничего сделать для вас не смогу.

— Мне есть нечего. Вы, старый коммунист, считаете — так правильно будет?..

— Правильно.

— Что ж, дайте чистый лист бумаги — и диктуйте.

Директор издательства «Картя Молдовеняскэ» («Молдавская книга») Борис Захарович Танасевский встретил ласково.

— Слышал о тебе и раньше. Пришел бы, сам бы взял. Но через ЦК удобнее обоим...

Мои материальные обстоятельства поправились. Получал сто десять рублей в месяц, — подоспела денежная реформа. Подвернулся и перевод книжки молдаван-очеркистов. Кажется, можно жить...

После шести я оставался в редакции, засиживался до одиннадцати и позже. Как-то заглянул Танасевский, — его кабинет был напротив, через приемную.

— Ты что делаешь? Переводишь? Не возражаешь, если дверь останется открытой?.. Все-таки веселее.

Около десяти услышал:

— Павел Семенович, может, на сегодня хватит?.. Заходи, потолкуем.

Он достал из сейфа вино, вазу с яблоками. За второй бутылкой Борис Захарович уже изливал душу.

Был Танасевский раньше мэром Кишинева, и продолжалось это целых двенадцать лет. Готовили, по его слову, на председателя Совмина республики — и вдруг сняли. Причиной послужил конфуз с заместителем — с Караваемым.

Караваем прибыл в Молдавию из Карело-Финской ССР после ее превращения в Карельскую АССР. Там он дорос до замминистра какой-то промотрасли. И никто не удивился карьере подполковника запаса, награжденного боевыми орденами, хотя и не имевшего гражданского образования.

В Кишиневе бывший член правительства братской республики стал всего лишь директором кожевенного завода. Видимо, понимал, что недостает грамотенки: работал и заочно учился на экономическом факультете университета.

Показатели у кожевников были отличные. Караваем выдвинули заместителем председателя горсовета. Тут он

и диплом получил. Экзамены принимали у него в кабинете — Караваев ведал распределением жилья.

Сам Танасевский в подобные щепетильные вопросы не вникал. Общался с партийным руководством, ездил на сессии Верховного Совета СССР, председательствовал, принимал высоких гостей. Когда в Кишинев привезли Гарста с женой, Борис Захарович самолично выбрал в Ювелирторге кольцо за двадцать тысяч рублей и преподнес супруге популярного у нас при Хрущеве американского фермера.

Прием граждан вел, в основном, Караваев. Пришла женщина, иногородняя, будто бы по поводу разрешения на обмен квартиры. После этого посещения обратилась в госбезопасность: у кишиневского зампредисполкома все, как у пропавшего на войне брата, — фамилия, имя, отчество, даже биография до сорок первого года, напечатанная в газете, только облик... совсем другой.

За Караваевым стали следить. Обнаружилось, что он бросает на ветер большие тысячи, часто закатывает пиры в специально отведенном для этого особняке. Источник мог быть один — взятки.

Ну, пожурили бы Танасевского за излишнюю доверчивость, дали бы другого зама, если б... Выяснилось, что Караваев, действительно, вовсе не Караваев. Когда-то работал шофером в Тбилиси, был осужден за убийство. А тут — война. Попросился на фронт — отправили в штрафбат. В первом же бою взял документы убитого капитана Караваева и прибился в суматохе отступления к другой части. Ко дню Победы он уже был подполковником. Ну, а дальше — смотри начало рассказа Бориса Захаровича.

Зама разоблачили. Танасевский был обвинен в политической близорукости и осел в издательстве, все еще оставаясь депутатом Верховного Совета СССР, сохраняя повадки и решительность крупного деятеля. Истово ждал возрождения, подъема на новые, самые большие иерархические вершины. Почему, что поддерживало его в уверенности на очередной виток карьеры? Ни образования настоящего (педучилище, какая-то школа советского строительства), ни разностороннего жизненного опыта (взводный, комсорг полка). Правда, пребывая в мэрах, он завязал подобье дружбы с Брежневым, Черненко, а те теперь заправляли в Москве.

— Бодюл — вот кто встал поперек дороги, — как бы подвел итог своим неприятностям мой директор. — Знает, что у меня больше прав на республику, чем у него...

— Тетка служила с ним в Совмине, — вставил я. — Она рассказывала, что по возвращении из командировок Иван Иванович расхаживал вдоль учрежденческих коридоров в одних носках...

— Наверно, и в туалет так бегал, — саркастично заметил Танасевский. — Знаешь, Павел, в партию тебе надо, — вдруг невпопад сказал он. — Вступишь — половину еврейства скостишь!.. Хочешь, напишу рекомендацию?

— Спасибо, Борис Захарович.

— При турках в Молдавии утвердили позорный обычай: если, возвращаясь домой, хозяин замечал у порога востроносые сапоги, то не имел права входить. Брошенные у дверей сапоги басурмана означали, что он забавляется с хозяйской женой...

— Это вы к чему?

— Да так... А ведь пока я был на фронте, Бодюл в военно-ветеринарной академии ошивался.

— Сомерсет Моэм говорил, что предпочитает ветеринара премьеру.

— Как видишь, иногда это одно и то же лицо. Только у нашего ветеринара власти в республике больше, чем у первого министра в любой стране...

— Редакционная стенографистка вспоминала, как они с подружкой учились на курсах быстрой записи в Днепропетровске. Подружка приглянулась первому секретарю обкома. Закончили, получили назначение в Кишинев, куда уже перевели первого — первым же. «Тут ко мне и посватался инженер, — делилась со мной стенографистка, — к подружке — ветеринар. Я-то думала, моя судьба завиднее — всегда в городе буду жить. Жалела ее: все равно ведь зашлют Ваню в глубинку при очередной кампании за подъем сельского хозяйства. И что вышло? Строитель спился, коровий доктор — вон он как взлетел!..»

— Взлетел бы он, если б не жена! — зло сказал Танасевский и, хитро подмигнув, черкнул ладонью по нижней части лба, намекая на чьи-то властительные брови.

...Однажды позвонил некто, назвался Михаилом Ивановичем, сказал, что нам необходимо встретиться.

— У вас какое дело ко мне?

— Ничего не спрашивайте... по телефону. Буду ждать

на второй скамейке справа у входа в парк Победы в три часа дня.

— Но...

— Не беспокойтесь, я знаю, как вы выглядите.

Он сидел на скамье не один, и все-таки я угадал его шагов за десять. Нет, внешность Михаила Ивановича совсем не вязалась с расхожим представлением об агенте сысского ведомства. Смуглолицый и длинноносый, он скорее походил на вороватого снабженца. Но что-то подсказало: из троих — этот.

— А-а, Павел! — вскочил навстречу, изображая радость. — Прогуляемся?..

— С удовольствием, — растерянно согласился я, чувствуя, как меня подхватывают под руку.

— Вам привет из Караганды.

— От кого?

— Сотрудники передали.

— Кто именно?

— Не хотелось бы в людном месте... Давайте вот что: я пройду вперед, а вы следуйте за мной. Это угол Киевской и Бендерской, слева — котельцовский особняк. Звонить не нужно. Дверь будет незаперта.

— К чему такая конспирация?..

— У нас свои правила.

— Привет вы передали. Спасибо. А теперь разрешите откланяться.

— Подумайте о своем будущем. После того, что случилось...

— Что случилось?

— Вы снова работаете, но...

— Меня направил в издательство отдел пропаганды ЦК.

— Верно, мы не препятствовали, хотя не исключено и другое...

Он прибавил шагу, помахав на прощанье рукой, точно расставался с добрым знакомым, которому незачем спешить. Я неторопливо шел следом и с неожиданным спокойствием оценивал возникшую ситуацию. Угрозы, конечно же, не беспочвенны. Нет, так просто не отвяжутся. Надо выяснить, по крайней мере, чего хотят на этот раз. Э, Бог не выдаст, свинья не съест!.. Ну, помчусь в ЦК искать защиты?.. Да ведь наверняка у них все согласовано.

Твоя мама, будто исповедуясь, рассказывала перед самой смертью, как в тридцатые годы ее арканили в стукачки. Она до того была испугана, что слова не могла вымолвить. Тем, должно быть, и спаслась.

Моего двоюродного брата столь долго мытарили, подбивая стать секретным сотрудником, то бишь сексотом, что ему пришлось уехать в Израиль, — на проводах и признался.

Не слишком ли много внимания уделили органы нашей с тобой родне? Неужели подобное происходило с каждой семьей, только люди таились, молчали, доверялись, да и то не всегда, лишь самым близким?

Вот если б об этом кричали:

— Меня вербуют! Спасите! Не хочу!

— Чего не хочешь, дурак? Помочь безопасности советского государства?..

— Но почему же тайком и под расписку о неразглашении? И почему потом стыдно смотреть в глаза ребенку?

— Как же ты не сообразил, недотепа, что важное дело государственной безопасности не терпит гласности?

— От кого — безопасности? От свершивших революцию и рожденных после нее? От тех, кто пролил кровь за Отечество, кто готов за него жизнь отдать по первому зову?

— А враги?

— Сами их и фабрикуете, чтоб оправдать собственное существование.

— Мы помним слова Дзержинского: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

— Сеять страх с холодной головой, горячим сердцем не трепетать перед преступлением, а обогранные руки считать чистыми — это ли не иезуитство?

— Мы не щадим себя для вашего счастья.

— Не нужно мне счастья на крови четверти населения страны.

— Интеллигентские всхлипы! Ты еще о детской слезинке скажи, как ваш Достоевский. Но борьба есть борьба.

— Хватит бороться. Жить надо. И чтоб не бояться ближнего, не подозревать в каждом наушника. И телефона не опасаться — подслушивают. И письма писать без оглядки — не перлюстрируют.

— А капиталистическое окружение?..

— Кто теперь кого окружает — они нас или мы их?

— Свойства человеческой природы таковы...

— Да вы сами нерадивы и корыстны, ни во что не верите и устали от своей же лютости. И совсем не такие сильные, как хотите казаться. Вот вы меня сейчас подавливаете, сразу после того, когда я был повержен и только-только поднялся, настрадавшись, изголодав, — не признак ли это слабости?..

И все-таки надо кричать! Думаешь, не услышат, не поможет? Однажды помогло...

Мамин брат Фима работал в тридцать четвертом году председателем артели дубоссарских столяров. Его вызвал следователь НКВД, потребовал показаний против одного, с кем дядя дружил с детства.

— Ручаюсь за него, как за себя, — твердил Фима.

— Он враг народа, — настаивал следователь.

— Хочешь погубить честного человека?.. Режь меня, ничего не добьешься. Ратуйте, люди! — во всю молодую глотку заорал дядя.

На крик явился начальник райотдела.

— Чего кричишь? — спросил он Фиму, с которым вместе проводил коллективизацию в двадцать девятом и тогда же вместе вступил в партию.

— Он домогается, чтобы я назвал тебя врагом народа, — нашелся Фима.

— Иди домой, — сказал начальник. — Понадобисься, приглашу.

Сошла бы дяде его находчивость в тридцать седьмом, когда наступил большой террор? Не спасла бы местечковая патриархальность нравов.

Я молча, точно на невидимой веревке, влачился за своим супостатом. Вот и особняк. Толкнул дверь, в которую он прошмыгнул у меня на виду, — подалась без скрипа. Узкая прихожая, с трех сторон — комнаты. Успел слева разглядеть сквозь застекленные створки сцену семейного чаепития. Ну и ну! Хозяева согласились — их дом используется как филерская явка! Тут справа высунулась голова Михаила Ивановича.

— Сюда, Павел, сюда...

Это, видимо, была гостиная. Мебель преобладала немецкая, трофейная. Напольные узкие часы беззвучно отсчитывали время.

— Мне хотелось бы задать несколько вопросов касательно ваших знакомых. Просто необходимо проверить правильность полученной информации. X был студентом университета в те же годы, что и вы. Что он за человек?

— Прекрасный человек и талант. Пока я в баскетбол гонял, он Марксов «Капитал» конспектировал.

— А У?.. Зачем ему английский язык?

— Впервые слышу, что У владеет английским. Но нужно ли объяснять, зачем интеллигентному человеку иностранные языки?..

Он еще о ком-то и о чем-то спрашивал, мои ответы были в таком же роде.

— Видите, как у нас с вами хорошо получается, — хитрил Михаил Иванович.—И впредь давайте так: встретимся в городе — не знаем друг друга. А телефон запомните,— последовал набор цифр, — на всякий пожарный случай. Да, чуть не забыл, подпишите это обязательство.— Передо мной с ловкостью фокусника была выложена подготовленная бумажка.

— В чем обязательство?

— Никому никогда не говорить о нашей беседе.

Я молчал двадцать восемь лет. А каков срок давности для уголовной ответственности и распространяется ли он на отношения с КГБ?..

— За кого вы меня принимаете?

— Порядок есть порядок.

— И оставите в покое?

— Постараемся,— усмехнулся он.

На другой день, однако, снова звонок:

— Срочно необходимо увидеться. Жду после работы в том же доме.

— Занят я.

— Дело не терпит отлагательства. Все серьезнее, чем вы думаете.

— Что серьезнее?..

— Не по телефону же излагать — придете, скажу.

Присосались... Что у них есть против тебя? Или слабину почувствовали?.. Но ведь ты по сути защитил двух славных людей, а кто-то другой наговорил бы с три короба, лишь бы себя обелить. Нет, заиграешься — полутают. Чистым все равно не выйдешь! Даже после смерти не отмоешься. Мстить будут? Ославят? Была, не была — рвать, рвать резко, рвать сейчас — потом будет поздно!..

— Видите, Павел, всегда можно выкроить часок, — ележно обрадовался моему приходу Михаил Иванович. — Так вот, начальство приказало, чтобы все было изложено в письменной форме.

— Что — все?

— Ну, что говорили об Иксе, об Игреке итэдэ.

— Устал от писания на работе.

— Документ нужен.

— Подтверждение, что дело сделано?

— Хотя бы и так.

— Тогда дома на досуге набросаю.

— Нет, сейчас, при мне. Иначе не отпущу.

Он достал бумагу. Ручкой я пользовался своей.

Прочитав написанное, Михаил Иванович удовлетворенно сказал:

— Теперь есть документ.

— Свободен, могу идти?..

— Да, конечно. Вы ведь сотрудничаете с нами добровольно.

— Не сотрудничаю. И не приучайте к мысли об этом.

Казалось, меня оставили в покое. Ни зимой, ни весной звонков и вызовов не было. Я старался забыть привязчивого Михаила Ивановича. И даже убедил себя, что он отстал навсегда.

В мае в Кишинев приехал на гастроли симфонический оркестр студентов Истмэнской консерватории при Бостонском университете. Местные музыканты устроили встречу с юными американскими коллегами. С приятелем-контрабасистом попал на нее и я.

Впервые вблизи увидел людей из другого мира, беспечных, непринужденных. Что нас разделяло — так это языковой барьер. И тут вынырнуло откуда-то слово «джуиш».

— Джуиш? — подошел я к рыжеватому милому паренку и изобразил руками круг. Интонация была дозирована на всякий случай — для безадресного восприятия. — Хабен зи юдн хиер? (есть здесь, то есть среди вас, евреи?). Немецкая фраза, если она вдруг дойдет, проясняла вопрос, неумело заданный по-английски.

— О я, я! — воскликнул паренек и, ухватив меня за локоть, подвел к двум симпатичным девушкам — Бетти-Кэрл, — представил он чернявенькую и что-то залопотал ей по-своему.



Мы познакомились. Бетти-Кэрол немного знала идиш, подруга Стефа, из поляков,— русский. Теперь можно было говорить о чем угодно....

Я заметил, что с советской стороны на встрече присутствовали лица, весьма далекие от музыки, но никак не ожидал для себя дурных последствий от этого. На другой день, однако, опять прорезался Михаил Иванович. Голос в трубке был против обыкновения сух и непреклонен:

— Жду сегодня после шести. Место вам известно.

— Не ждите — не приду. В прошлый раз все было сказано достаточно ясно.

— Вы обязаны отчитаться перед нами о своих контактах с иностранцами. Не явитесь по звонку — вызову повесткой.

Он лоснился от удовольствия, когда я переступил порог особняка, улыбался, будто и не прибегал накануне к угрозам.

— Ну, молодец! Ну, умница! Пришел — правильно. Уж простите, что был не совсем корректен, да не моя воля... И вообще — хвалю. Наши-то не умеют вот так непринужденно общаться с заграничным контингентом.

— Может, в штат пригласите,— мрачно пошутил я, еще не понимая, куда он клонит.

— В вашем нынешнем качестве от вас может быть больше пользы. — серьезно ответил Михаил Иванович. — О чем говорили с американцами?..

— Какое — говорили?.. Я же по-английски ни в зуб ногой!

— Зато знаете идиш, немецкий. Неплохо получалось...

— Зачем тогда спрашиваете?.. И сфотографировались мы вместе у всех на виду, и адресами обменялись. Пришлют карточки — вы, небось, первый их и увидите?..

— Похоже, с иностранцами вы не скованы... Вот скоро через Кишинев проследует израильская делегация на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. Хотите проехать с ними до Москвы?..

— Пока я еще редактор Госиздата Молдавии.

— Все согласуем — командировка будет от ЦК партии.

— А что мне придется делать?

— Ничего особенного. Просто пообщаетесь, узнаете, какие у них настроения, как относятся к нашей стране.

— И потом?..

— Поделитесь с нами своими впечатлениями. Надеюсь, это не создаст для вас моральной проблемы?..

Я уже однажды видел израильтян. То было на московском стадионе «Динамо». Заканчивалось первенство мира по волейболу. Команда из Тель-Авива заняла предпоследнее место, опередив лишь финнов. Но держалась с мужественным достоинством. Какие они вблизи? Меня подмывало согласиться на предложение Михаила Ивановича. Заманчиво было безнаказанно в течение суток находиться рядом с неизвестными соплеменниками, говорить с ними. И прервать надоевшую повседневность, в Москву смотаться хотелось. Осторожность нашептывала: затягивают в свои сети, увязнешь. Да ведь «есть упоение в бою и мрачной бездны на краю»! И не сам ли я себе хозяин. Соскочу. Дурацкая моя безоглядность! Возможно, в другое время сразу пресек бы даже мысль о подобной аванюре. Однако, никого вокруг не сажали, спокойно было. Не сказал ни «да», ни «нет», а все-таки он, наверно, усек, что колеблюсь.

Позвонил снова в конце июля:

— Немедленно отправляйтесь домой, соберите чемодан — и на вокзал. У вас полтора часа времени. Буду у касс дальнего следования. О командировке ваше руководство уведомлено.

Я едва поспел к отходу поезда. Он — из ладони в ладонь — сунул мне билет, суточные.

— Командировочное удостоверение?

— У нас с ЦК устная договоренность. Для издательства — вы в распоряжении ЦК. В Москве наберите этот телефон. — Легкое прикосновение щипача, и в мой карман соскальзывает бумажка с номером. — Доложите о прибытии, спросите, какие будут указания.

На первой же станции израильтяне высыпали на перрон, затеяли песни с танцами. По-русски это должно бы назвать хороводом. И так заразительна была «Хавэнагила», древний гимн радости, что сбежавшиеся жители невольно стали хлопать в ладоши в такт мелодии. Облик пляшущих опровергал антисионистские карикатуры. Красивые, гармоничные, самозабвенно раскованные люди наполнили экзотической музыкой привокзальную площадь.

— Кто таки? — спрашивали зрители-украинцы.

— На фестиваль едут?

— Чому ж у них зирки, яки на наших жидах булы при нимцах, тильки блакитни?.

— Ты що хотил, щоб жовти?.. Влада ж друга...

На одной из остановок израильские ребята пригласили меня в свой вагон. Мы разговаривали на смешанном еврейско-немецком языке. Дети эмигрантов усвоили идиш от родителей. Зато, как мне объяснили, родившиеся в Израиле — сабры знают лишь иврит и английский. Какой-то парень пытался изъясняться даже на ломаном русском.

Рыжая, с нежной молочной кожей и румянцем во всю щеку девушка взяла в руки гитару, принялась напевать. Я сидел рядом, слушал. Испанские ритмы чередовались с шотландским балладным строем, негритянские спиричуэлс сменяло что-то щемяще-близкое, хотя и не понятное вовсе. И тут меня осенило: да ведь она завела свое, то есть наше.

Я спросил, как ее зовут и где она узнала эти песни.

— Нехама Гендель, — отвечала девушка. Нехама рассказала, что она германо-голландского происхождения. А песни? У нее программа такая — песни народов мира.

Вдруг страшно захотелось, чтоб она спела для меня одного, и я сказал ей об этом.

— Не в поезде же! — улыбнулась Нехама.

На очередной станции опять высыпали на перрон и повели хоровод. Подвалила проводница.

— Вас спрашивают. — И потянула в служебное купе.

Там нетерпеливо пыхтел, задыхаясь от рвения, массивный утюг с малиновой окантовкой — капитан в форме железнодорожной милиции.

— Телефонограмма. Товарищи запрашивают, как вы. Что передать?

Э-э, да у них налажено все, грубо, но налажено...

— Передайте, что порядок.

В Казатине Нехама вынесла пластинку со своими песнями.

— Вот, нашла для тебя. Будешь слушать... один.

Нас потащили в круг — танцевать. И чтобы не раздавить диск, я высвободился на минутку, передал его в оконную щель попутчикам.

Когда вернулся в купе, сосед объявил:

— Понимаете, ворвался какой-то тип, ткнул в нос удостоверение — забрал вашу пластинку.

Мы сфотографировались с Нехамой на прощанье под дебаркадером Киевского вокзала. (В сентябре она прислала снимок и поздравление с еврейским Новым годом.)

Теперь оставалось позвонить по московскому номеру.

— Поезжайте назад! — приказала трубка.

В Кишиневе потребовали подробного отчета. Я доложил, что делегация государства Израиль на фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки была нарочно подобрана из красивых девушек и юношей. Последнее обстоятельство, как и наличие в ее составе арабов, использовалось в явно пропагандистских целях. Израильтяне, проезжая по территории Советского Союза, вели себя с чрезмерной активностью: пели, танцевали. Должно быть, стремились вызвать симпатии к своей стране. Без сомнения среди них были и профессиональные разведчики. Один, говоривший на ломаном русском, видимо, знал язык лучше, чем хотел представить. Его выдавала отличная военная выправка.

Мой бред завершали жалобы на спешку при откомандировании, неуклюжесть и грубость работников органов, чьи действия по пути следования могли меня попросту демаскировать. Не устоял — потребовал обратно и отобранную пластинку.

Нес околесицу, чтоб впредь оставили охоту связываться со мной.

Через несколько месяцев позвонил незнакомец:

— Говорит подполковник Гарин. Павел Семенович, необходимо побеседовать. Прошу вас быть после работы по известному адресу.

Наверно, начальник отдела, подумал я. Вот он, случай навсегда отбойриться!..

Гарин начал с сообщения, что Михаил Иванович отправлен на пенсию. Органы проводят обновление кадров, решительно отказываются от сторонников старых методов. Вот и он, Гарин, свежий человек, раньше тянул лямку начальника цеха на одном из заводов Иркутска.

Правда, было в этом подполковнике что-то мягкое, располагающее.

— Я внимательно изучил ваши с Михаилом Ивановичем контакты. Приходится признать, не всегда он бывал деликатен и умен. Мы с вами будем строить отношения по-другому...

— Никаких отношений! Они мне в тягость!

— Поверьте, и я нелегко расставался с заводом. Но, как говорится, партия прикажет...

— Не могу и не хочу быть стукачом.

— Напрасно вы... Мы ценим вашу порядочность.

— Порядочность несовместима с фискальством, доносительством, вынуждаете вести двойную жизнь, таить ся перед друзьями, близкими, опасаться подозрений в соглядатайстве и самому подозревать других. И врать, всем врать! Также и вам! Неужели надеетесь, что стану сексотом?.. Отпустите лучше с миром...

— Надо посоветоваться с руководством. Я позвоню.

В следующую встречу он доказывал:

— Литераторы — инженеры человеческих душ, как говорил Горький. Наша работа сродни вашей, она тоже невозможна без понимания психологии людей. Неужели вам неинтересно?.. Потом... В предлагаемом качестве может оказаться нечестный субъект, преследующий шкурные интересы. Такой способен натворить много бед... Не думали об этом?..

— Думал, но не могу взять на себя подобную ношу.

— Нелегко будет убедить начальство, что вы лойяльны...

— Это уж из арсенала Михаила Ивановича. К тому же,— выкладываю последний аргумент,— я ведь же- нюсь...

— Желаю, как говорится, счастья!

— Мы собираемся обосноваться в Москве. Не хотел бы, чтоб за мной тянулся хвост... Очень вас прошу, не губите меня.

Он помрачнел.

— Ладно, постараюсь что-нибудь сделать.

Точно гора с плеч. Господи, как я был счастлив, возвращаясь домой! Ты заметила мое возбуждение, спросила:

— Что с тобой, милый?..

Не имел права сказать тебе правду. Но больше от- туда ко мне никогда не обращались.

По приезде в Москву отдал жене наличность — две- сти рублей. Столько денег осталось после обмена на ки- шиневскую маминую тираспольской квартиры. Покидая навсегда Молдавию, соединил маму с младшей сестрой.

— И это все, что скопили к тридцати годам, молодой

человек? — спросил тесть. В его вопросе услышал не укор — грустную усмешку. Он сам — это стало известно через полтора месяца — после сорока лет непрерывного труда оставил сумму, которой едва хватило на скромные похороны.

Надо устраиваться на работу, да ведь без прописки не возьмут! Через несколько дней пошел в милицию, узнал, что требуется для законного перевоплощения в москвича. В паспортном отделе выдали бумажку — форму номер... (забыл теперь номер-то!), сказали, что ее должен скрепить своей рукой ответственный квартиросъемщик, то есть тесть.

Вернулся повеселевший, протянул тестю бланк. Старик посмотрел на меня с подозрением.

— Что-то вы торопитесь прописаться...

Ты вспылила, оскорбившись за мужа, наговорила отцу горьких несправедливых слов.

Я тоже, к сожалению, слишком поздно понял, что по существу он был прав. Как же еще относиться к скоропалительному зятю после страшных московских легенд о наглых вероломных провинциалах, штурмующих столицу?..

Тридцатиметровая сухая и теплая комната — балкон на улицу Горького выходит, — комната, полученная после гражданской войны, была его единственным прибежищем в старости. Рисковать, когда вокруг отсуживали, делили, было бы безрассудно... Они с женой гордились своими хоромами. Их жилищное положение казалось несравнимо лучше, чем у большинства жителей белокаменной. И как бы в знак особенной избранности при Сталине перед праздниками к ним являлся сотрудник органов, проверял, нет ли кого постороннего. Первого мая и седьмого ноября прямо под окнами грохотал военный парад. Говорили: «Танки идут!»

Куда деваться?.. Жить вместе двум семьям — молодой и клонящейся к закату, разделенным только ширмой, тяжело. Мы искали крова, смотрели грязное затхлое помещение, предложенное твоей одноклассницей, просились к генеральской вдове в пятикомнатную роскошь — надеялись что-то снять.

Еще ты повела меня по знакомым редакциям — не найдется ли места. Главный редактор молодежного издательства позвонил куда-то, но поручиться не захотел за неизвестного ему человека. Зато Борис Балашов, мир

праху его, отыскал скромную ставку в киножурнале — отправлялась в декрет беременная сотрудница. Пока же, для проверки, мне выписали командировку в Чечено-Ингушетию.

Командировке я обрадовался. И то, что в Грозный, не пугало...

В Караганде подружился со студентом мединститута из ссыльных ингушей. Как-то ужинали вместе в ресторане, и речь коснулась национальных обычаев.

— Послушай, Руслан, — спросил я, — почему ваши старушки вскакивают, когда в трамвай входит молодой даже горец?

— Что, не нравится?! — вскинулся Руслан.

— Не нравится.

— Может, вообще тебе не нравимся?..

— У каждого народа есть и хорошее и плохое.

— Твое счастье, что так ответил... — вздохнул он.

— Счастье?..

— Сказал бы не нравимся, я б тебя зарезал.

— Ты же без пяти минут врач!..

— Все равно — зарезал... — И показал под столом лезвие кустарного ножа.

...Пока колесил по Северному Кавказу, заболел теть — слег и уже не поднимался. Застал его безнадежным. Старик стонал, бредил за хлипкой перегородкой.

Мы шопотом обсуждали, как помочь умирающему: кто-то нас уверил, что сумерки сознания не притупляют слуха.

У него пропала воля к жизни, когда дочь оказалась пристроена. А мне учение Николая Федоровича Федорова надолго навязало неотступную мысль — мое появление в вашей семье невольно, по закону «нескончаемой скрытой антропофагии» ускорило уход твоего отца.

Душа рвалась освободиться. И отлетела. Кажется, я имел несчастье видеть, как это произошло...

Отчитался после командировки — три материала пошли в печать, и меня взяли младшим редактором секретариата.

Ответственный секретарь, говорили, прежде лихо владел пером. После инсульта — чудом выкарабкался! — ему начисто отшибло память. Невольно мне приходилось многое брать на себя: вести номер, выбивать у отделов запланированные статьи, править. Вот это-то и бесило иных чрезмерно самолюбивых сотрудников: младший, пе-

риферия, а осмеливается находить у нас ошибки!.. Заведующая критикой так просто негодовала. В молодости красавица, она выбилась из секретарш. Знакомства среди литераторов сохранились у нее еще с той любовственной поры. Теперь, располагая просроченными векселями, требовала по ним платежей. Основным орудием ее деятельности был телефон — неутомимо названивала знаменитым авторам. Сраженные неувыдшим напором и пробужденными воспоминаниями, они соглашались по старой дружбе черкнуть что-нибудь в непрестижный журнальчик. Писали левой ногой. А бывшая дива, полагаясь на авторитеты, оставляла все в том виде, как выколачивала. Я только разводил руками, обнаружив уважаемое имя под сырой второсортной поделкой.

Главный редактор все видел, все понимал. Но и он, кажется, не был свободен от меморий. Это проступало в пикировке начальника и подчиненной на производственных совещаниях.

— Конечно, нам нужны маститые, — начинал главный, — однако, опус-то неважнецкий... («Вот видишь, милая, опять тебя подвел забывчивый любовник!» — про себя озвучивал я контекст.)

— И все же лучше напечатать нешедевр маститого, чем какого-нибудь Пупкина! — возражала подчиненная. («Он, безусловно, свинья, — слышалось мне, — только и ты хорош! Выставляешь на посмешище перед коллективом»).

Продолжаться подобный диалог мог непредсказуемо долго.

Штатные сотрудники журнала редко дерзали писать. Одни — из неуверенности в себе, другие — потому, что считали это слишком хлопотным занятием. Как ни странно, держалось мнение: сочинительский-де зуд от незагруженности и вредит работе.

Я не имел возможности присоединиться к безгласному большинству из-за мизерной зарплаты: семья, да и маме надо посылать ежемесячно. С новым, сменившим инсультника ответсекретарем — Юрием Юрьевичем Кузесом, открылась возможность ездить на студии, бывать на съемках, больше делать своего.

Как-то вызвал главный, вручил золотоперую авторучку в изящном футляре.

— Паша, позвоните в гостиницу «Пекин» Фридриху Марковичу Эрмлери, скажите, вам доверено отвезти ему



премию за сотрудничество с журналом. Постарайтесь понравиться, побеседуйте о фильме, который он сейчас ставит, подготовьте материал.

Эрмлер лежал в постели.

— Извини, дорогой, что-то неважно чувствую сегодня. — Ручка произвела впечатление. — Красивая штука-вина!..

— Фридрих Маркович, наш журнал хотел бы...

— И не проси, дорогуша! Пока картина не вышла, нельзя о ней в прессе: поднимут вой за границей — мол, облапошили старика...

— ?..

— Не меня, конечно, — Шульгина. Тогда он откажется сниматься.

— Но я просто посмотрю, как вы творите, подышу, так сказать, воздухом фильма. Остальное потом, после премьеры.

— Это можно. Приходи завтра утром в Кремлевский Дворец съездов.

Стеклянная коробка, в нарушение канонов втиснутая в старинный архитектурный ансамбль, все-таки стоит рядом с Кутафьей башней, и мы привыкли...

Киношники расположились в углу прозрачного фойе, но не начинают, ждут. Выясняется, что накануне во Дворце устраивали банкет в честь семидесятилетия Хрущева. Одно из действующих лиц сегодняшнего эпизода — самый старый большевик, кажется, старше самой партии, профессор Федор Николаевич Петров гулял на торжестве, оттого нынче заспался. Его вот-вот должны привезти. Другой участник — сухой аккуратный старик, чем-то похожий на Бернарда Шоу, — здесь, терпеливо коротает время в слишком широком для него кресле.

— Василий Витальевич Шульгин, — шепнула мне помощница режиссера.

В. В. Шульгин был председателем военного комитета Государственной думы, принимал отречение Николая Второго, потом руководил белым движением. Схваченный советской разведкой в освобожденной Югославии в 1945-м, он двенадцать лет просидел в одиночке. Вероятно, еще б не скоро выпустили, если бы не догадался написать Никите Сергеевичу. Монархист просил первого секретаря ЦК КПСС принять в соображение, что и он всю свою жизнь посвятил России, ее благу, как оно понималось, конечно, людьми его круга. Хрущев не только

освободил Шульгина, пенсию ему назначил, квартирку под Владимиром дал. А для того, чтоб идейный враг въявь убедился в торжестве коммунизма пригласил на XXII съезд партии.

Петрова само собой избрали делегатом съезда. Оба, значит, присутствовали. И расторопный сценарист В. Вайншток (Владимиров) придумал свести их в картине «Перед судом истории», как будто они и вправду сходились в кулуарах и между двумя ветеранами состоялся разговор, который намечали сегодня снять.

Наконец, привезли восьмидесятивосьмилетнего круглого, точно квашня, Петрова. Рядом с подтянутым живым Шульгиным, который, правда, был моложе на четыре года, он казался разбухшим в реке утопленником. Я видел такого на Днестре в детстве, его вынесла на берег полая вода.

Теперь, когда наличествовали «артисты», что-то не заладилось у киношников — не шла камера.

Петров сопел в кресле без подлокотников, то и дело валился на бок, в руки ассистенток. Те едва его удерживали. Шульгин все так же безропотно наблюдал со стороны чужую суматоху.

Наконец, хлопушка — начиналась съемка. Эрмлер зачитывал фразы, заранее, как я узнал, согласованные с собеседниками, которые должны были повторить их перед объективом.

— Здравствуйте, Василий Витальевич, — произнес режиссер за Петрова. — Мы ведь с вами определенным образом давние знакомые, через вашего отчима. Я слушал его лекции в Киевском императорском университете.

— Здравствуйте, Виталий Васильевич, — сонно повторил Петров. — Мы ведь с вами...

— Стоп! — скомандовал Эрмлер. — Федор Николаевич, дорогой, не Виталий Васильевич, а Василий Витальевич. Начали!..

— Здравствуйте, Викентий Васильевич! — востропнулся Петров. — Мы ведь...

— Стоп! — крикнул постановщик, наливаясь краской от сдерживаемого гнева. — Василий Витальевич!

Дубль следовал за дублем, но партийному старцу никак не удавалось без ошибки произнести утвержденный текст.

После реплики Петрова об университете, Шульгин отвечал, примерно так:

— Верно, отчим был профессором.

— А еще редактором монархического «Киевлянина», — ехидно замечал Петров.

— Мы отстаивали благо России, как его понимали... (Сценарист, видимо, использовал выражение из письма Хрущеву.— П. С.).

— Ну, а мы — коммунисты...

— Есть коммунисты и коммунисты, — возражал Шульгин. — Сталин тоже называл себя коммунистом...

— Сталин никогда не был настоящим коммунистом! Он лишь носил в кармане партийный билет!

— Стоп! Стоп! — опять закричал Эрмлер. — Федор Николаевич, умоляю, не несите отсебятину...

— К черту, не могу больше! — И поостыв: — Почему это у него выходит, как по писаному, а у меня нет?.. — виновато удивился Петров.

— Так вы же рэволюционэр, — с тонкой улыбкой ответил Шульгин.

Позже передавали принадлежащее Шульгину: «Я — за революцию, но без «р». А когда появилась картина, куда снимавшийся при мне эпизод был включен в несколько измененном виде, ее пустили, да и то ненадолго, вторым экраном. Крупная личность Шульгина перевешивала, заслоняла и Петрова, и введенного комментировать эпохальные события пустоглазого актера, который изображал Историка — с большой буквы.

...Уже тлею душно, в тополином назойливом пуху лето. Я приплелся домой измочаленный редакционной несуразицей. Помнишь, ты извинилась перед гостем, вышла за мной в ванную. Оказалось, он появился за несколько минут до меня, а позвонил еще днем: Телефон дали в Союзе писателей. Был у Эренбурга, Паустовского, Бондарева, Ахмадулиной. Нам, особенно тебе на сносях, было не до визитеров, тем более иностранных. Да как откажешь?..

Я умылся, возвратился в комнату. Познакомились. Он назвался Михайлой (почему-то так!) Михайловым.

Потом пили чай, беседовали о том, о сем. Узнав, где я работаю, Михайлов спросил:

— Что там приключилось с фильмом «Застава Ильича»?

Я рассказал, что Хрущев после просмотра осерчал — клеветает картина на поколение отцов. Особенно возму-

тил его такой эпизод. В трудную минуту сын обращается к призраку отца-солдата:

— Что делать, отец?

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— А мне двадцать один...

Разъяренный Никита Сергеевич орал, что даже сука бросается спасать своих щенят, когда их топят.

Михайлов поинтересовался, каково мое отношение к этой сцене. Я не скрыл, что она меня взволновала: ситуация повторяет мою собственную, мне ведь тоже сейчас больше лет, чем было папе в день его гибели.

Гость заговорил о каком-то истинном марксизме, о котором мы и не слыхали, сыпал фамилиями, все больше французскими. Курить Михайлов предпочел на балконе, снизойдя до интересного положения хозяйки.

— Вы удивительно хорошо изъясняетесь по-русски, — заметил я, выйдя с ним вместе.

— Родители — эмигранты из России. Отец — кабардинский князь, мать — еврейка.

— То-то я сразу уловил в вас что-то еврейское, — неуклюже сказал я.

— Знаю, что похож, а неудобство этого впервые почувствовал только в Москве... — нахмурился Михайлов.

— Ради Бога, не примите меня за антисемита, — поспешил я загладить свой промах. — Одно, конечно, не исключает другого, но я и сам еврей...

— Вы — еврей?! Ни за что б не догадался!

— Не собираетесь ли писать о поездке? — переменял я тему.

— Путевой очерк. Главная цель — собрать материалы для докторской.

— Она что, связана с Россией?

— Впрямую — «Отсутствие мотивировки как мотивовка в произведениях Достоевского».

— У нас и у вас многое сейчас понимается столь поразному...

— Это я просек, не волнуйтесь, — успокоил Михайлов мою мнительность.

Приблизилась осень шестьдесят четвертого года. По расчетам врачей и семейным выкладкам, до рождения нашего с тобой первенца оставалось довольно времени, чтоб мне успеть смотаться в командировку. Из Новой

Каховки с фотокорреспондентом добрался рефрижератором до Одессы, отсюда на такси — в Кишинев.

— Слыхали новость? Никиту сбросили! — весело сообщил разбитной шофер.

— Что?!

— Сам читал в «Защитнике Родины». Вот этими глазами.

«Защитник Родины» — газета Одесского военного округа.

В гостинице «Молдова» получил телеграмму: «Поздравляю рождением дочки внучки Мария Федоровна». Внучки — это для мамы. Наша Саша появилась на свет за две недели до срока, в тот самый день 16 октября, когда стало известно о смещении Хрущева и началась эра Брежнева. Но отцовские чувства как-то приглушили гражданские. Не скрою, был разочарован, что не сын: захиреет фамилия, да и жить девчонке труднее...

Купил охапку белых мохнатых хризантем — и в Москву. Взял впервые на руки попискивающий теплый сверток, заглянул в родное личико, встретил любопытно осмысленные глазки — и пропала горечь.

Новое счастье почти сразу же слегка омрачила потеря работы — декретница возвратилась в редакцию. Конфузливо улыбаясь, главный предложил мне пойти на договор, то есть состоять при журнале внештатно. Это гарантировало официальный статус и исключало обвинения в тунеядстве.

— Печатать будем, — пообещал главный.

Вроде обошлись по-человечески — приютили, на сколько можно было, не на улицу выгнали — трудовое соглашение заключили. Но по существу со мной поступили подло. Ведь накануне приняли на работу одного прожженного борзописца.

Кузес клялся:

— Пашенька, поверьте, я отстаивал вас! На дыбы поднялась завкритикой. Не простила, что обнажили ее безграмотность. К тому же новый сотрудник — член партии. И еще чертов пятый пункт...

Себя Кузес смеясь называл «инвалидом пятой группы», хотя по отцу был латышом. Прибалт-родитель умер еще до рождения Юрия. Он вырос в еврейском доме деда и бабки со стороны матери. Совестьливая душа могла ли от них отречься?.. Так и жил Юрий Юрьевич добровольным изгоем. На войне попал в одну газету с буду-

щим писателем Михаилом Алексеевым. Тот вывел его в повести «Дивизионка» — молодого, красивого, даровитого. Закончив после Победы Московский университет, фронтовой журналист-орденоносец наверняка занял бы высокое положение, если б не редкостная порядочность, та самая, что в юности побудила записаться евреем.

Позднее и Кузес расстался с киножурналичкой, осел в небольшой издательской фирме, выпускающей буклеты об артистах. Коммунисты избрали его своим секретарем.

— Ей Богу, Паша, ощущаю себя счастливым человеком, лишь когда провожу время с Пушкиным, — рассказывал Юрий Юрьевич. — Это случается редко, к сожалению. Обычно идешь из конторы домой и подводишь итог. И если обошлось без подлости по служебной да по партийной линии — значит, день был удачный...

Мечтал определиться ночным сторожем в Пушкинский музей на Кропоткинской. Писал медленно, мало, выделял каждую строчку своих небольших изящных необыкновенно артистичных эссе. И все они затерялись в периодике, не собраны, забыты.

Хочу осмыслить судьбу Юрия Юрьевича Кузеса. Она в известной мере типична. Храбрый на войне, Кузес не был бойцом в мирной жизни. Свойственный ему идеализм, в романтическом значении термина, природная мягкость подсказали доморощенную, казавшуюся спасительной теорию самоустранения: сейчас не время, нельзя словом бороться за правду, уход от зла — уже добро. Страдал, подавляя в себе потребность выражать вслух, публично то, о чем болело сердце. Не выдержал. Скончался неожиданно, скоропостижно, в пятьдесят с небольшим лет.

Запомнился наш разговор о кинорежиссере Михаиле Калике, когда тот подал на выезд в Израиль, резко заявив в открытом письме, направленном в газету «Известия», что порывает с советским кинематографом, потому что хочет ставить национальные еврейские фильмы, как его товарищи-грузины ставят грузинские, киргизы — киргизские.

Юрий Юрьевич не осуждал Калику, но твердил, что нужно стараться, изо всех сил стараться сделать так, чтобы стало лучше в родной стране. Путь медленный, долгий — другого не мыслил.

У Василия же Шукшина решение коллеги вызвало иной отклик:

— Понимаю Мишу. Будь у меня отдушина, и я б в нее ушел...

Это было сказано в больнице поздней осенью семьдесят второго года с глазу на глаз — Василий Макарович лежал в палате один. Он попал сюда с обострением язвы, а спровоцировали обострение неприятности из-за картины «Печки-лавочки». После каждого просмотра в очередной высокой инстанции заставляли что-то выбросить. Дорезали до того, что стандартного метража не набиралось.

Последним смотрел Брежнев.

— Почему песня о России, а на экране — старики? — удивился генсек.

Больного Шукшина вызвали в Госкино.

— Убери стариков. Считаю, личная моя просьба. Убери... — канючил председатель комитета Романов, будто предчувствовал, что дни его сочтены.

Горели торфяники вокруг Москвы. Улицы затягивало дымкой. Она просачивалась в квартиры, вызывала удушье.

Я страдал в гипсе от подмышек до паха. Мелкие осколочки от моего панциря впивались в свербящую потную кожу. Похудевшее тело опало, и восьмилетняя Саша могла просунуть в образовавшийся зазор свою крошечную ручку, чтобы утишить нестерпимый зуд, не дававший мне покоя ни днем, ни ночью.

Когда доспехи, наконец, сняли, я взвесился. Оказалось, потерял шестнадцать килограммов.

Путевки в Дубулты были заказаны еще с весны. А пластмассовый корсет, который должен был сменить гипс, запаздывал. Пришлось вам ехать без меня. Крепился, пока шли сборы, шутил, когда провожал до дверей. Потом приволокся в комнату, глянул на себя в зеркало — бледного, беспомощного, и увидел, что плачу. С детства не лил слез, но тут раскис: не нужен ты никому, лишь маме... Только мама не знала ничего — как всегда, скрыл от нее беду.

В Ленинграде как раз в то время близился к завершению один из первых моих фильмов. Говорю «моих», у этого же был номинальный соавтор — тогдашний директор Высших курсов сценаристов и режиссеров Михаил Борисович Маклярский. Он, видимо, считал, что я

ему должен, коли принял учиться, потому и навязался в соавторы, не собираясь работать над сценарием.

Почти не надеялся поступить, когда подавал заявление: берут только до тридцати пяти — мне два дня осталось.

Ты была против. И теща подала голос:

— У тебя семья, деньги надо зарабатывать.

Я как отрезал:

— Нет! Лишь бы взяли. Стипендия сто рублей. И не на меньше накропаю ежемесячно.

До чертиков надоела жизнь, какую вел последние четыре года. После киножурнала куда только не пытался устроиться! Все напрасно. Перед самыми курсами удалось на время задержаться в одном женском издании. Пересидел — и ладно, отдохнул малость...

Помнишь, добрый друг норовил меня сунуть в строительный трест инженером по составлению бюрократических бумаг? К счастью, не вышло. Однажды, совсем отчаявшись, я отправился по объявлению в какой-то фотокомбинат на окраине Москвы — требовался редактор для оформления досок почета. Со мной переговорили, выяснили, чем занимался раньше.

— Нет, вы нам не подойдете...

В промежутке между службами для кино и для слабого пола искал путей к литорганам: как-никак по образованию ведь литературовед, да и критических статей, обзоров, рецензий написал немало.

Лев Якименко, зная мои выступления о творчестве Шолохова, предложил поступить в «Литературную газету», его рекомендации оказалось достаточно для приема заместителем главного редактора. Тот вспомнил, что печатался у них, был благорасположен. Вызвал заведующего отделом искусств, представил нового сотрудника. Условились: утром приступаю.

Следующий день мог бы быть одним из счастливейших. Склонился над столом, не поднимая головы, поглощая материалы, переданные для ознакомления завом, а внутри все ликует: господи, пробился, наконец, и куда! Теперь-то дело по сердцу — и до самой пенсии!..

Часов около шести позвонили из кадров, попросили заглянуть.

— Произошла ошибка. В отделе искусств не было вакантной ставки. Нет и в других отделах.

— Как же?..



— Извините, говорить об этом бесполезно.

Когда, помаявшись в приемной, я прорвался к замглавного, тот сказал, что, действительно, свободной единицы нет сейчас, вот появится — и сразу вспомнят, призовут, им позарез нужен именно такой человек.

Больше мне никогда не звонили (прежде подобное иногда бывало) из «Литературной газеты». И не печатали больше. Зато я стал желанным автором толстого журнала и малотиражного еженедельника.

В журнале приветил заведующий отделом критики. Мы — ровесники, с первых минут перешли на «ты». Моя славянская внешность вызывала доверчивое расположение, а фамилия, должно быть, настораживала. И придумал тест — дал отредактировать исследование об убиенном еврейском писателе.

— Пишешь ничего, — говорил при этом заведомо. — Но редакция заинтересована в сотруднике, который умеет чужое ге превратить в конфетку. Докажи, что способен. Может, главный согласится взять тебя в штат...

Выправил.

— Ну что, годится?

— Годится.

— А ты вообще читал его?

— Кого — его?

— Ну, этого писателя.

— Кое-что читал.

— В оригинале или в переводе?

— Старик, — сказал я, — читать по-еврейски, к сожалению, не научился. Но если волнует моя национальность, не сомневайся — еврей я...

— Ты, Павел, только не подумай чего... У нас ставки нет.

Вскоре в отделе появился новый литработник. По странному совпадению его фамилия звучала в точности, как мой псевдоним.

Обидеться бы, порвать с этой редакцией. Только ведь где лучше?.. И проглотил обиду.

Зав тем временем приспособливал меня для обслуживания своей литературной группировки да и для личных целей. Не причастный ни к какому лагерю, я был удобен, когда нужно было кого-то похвалить или обругать, не вызывая подозрений в предвзятости. Подсовывая на рецензию мякину некоего деятеля, он многозначительно замечал:

— Автор — секретарь правления СП СССР...

— Больно уж скучно, банально, бесталанно. Не напечатаете то, что о нем напишу...

— Тогда возьми вот это. — И вылавливает из стопки монографию, посвященную одному донбасскому писателю, добавляя: — Между прочим, сочинение главного редактора большого издательства. А тебе же нужно место?..

Новый заказ не лучше. Но отвергнуть его нельзя. Прослышу капризным. Прослоил эссеистские экивоки воспоминаниями о Караганде, порассуждал, что-де хорошо бы и Третьей кочегарке иметь такого певца шахтерского труда. Не без уклончивости отклик, однако, вполне. Довольный автор дарит критику свой опус с ответными комплиментами. Тем дело и кончается? Не совсем так. Теперь зав, — его рукопись лежит в издательстве, — позволяет покладистому рецензенту разразиться фельетоном, где тот справедливо чехвостит некую невлиятельную бездарь. Все в литпроцессе взаимосвязано...

У еженедельника тоже был четко очерченный круг писателей, которые пользовались расположением его редколлегии. И здесь меня подбадривали обещаниями:

— Это пойдет с колес...

Убедившись, что я привередлив, обычно предлагали на отзыв вещи стоящие.

Как-то звонят:

— Не поработаете ли временно в штате? Ставка литсотрудника освобождается на пару месяцев... Знаем вас как человека пишущего, познакомимся поближе, не исключено — останетесь насовсем. Приходите, обговорим условия.

Являюсь в назначенный час. Надо, объявляют, не откладывая представить меня начальству. Через несколько минут приглашают:

— Пожалуйста, к главному редактору.

Он расплылся в улыбке, он — сама доброжелательность.

— Значит, хотите у нас потрудиться?.. Что ж, я не против. Приглядимся друг к другу, там видно будет... А статьи ваши читал, Павел Сиркэс. Оформляйтесь:

Вернулся в отдел. Заведующая вручила анкету.

— Заполняйте, пишите заявление.

Сделал, как было велено. Наложил резолюцию.

— А теперь несите все секретарю главного, чтоб в понедельник приступить к работе.

Шагал по коридору, удаляясь от приемной, — коридор там длинный, — догнала запыхавшаяся секретарша.

— Срочно к шефу!

Он стоял над столом, уставившись в мои бумаги. Поднял глаза — и снова погрузился в анкету на уровне пятой графы, потом опять посмотрел на меня, плохо скрывая удивление.

— Так что решили в отделе?..

— В понедельник приступаю к работе.

— Нет, лучше загляните ко мне после обеда — надо кое-что уточнить...

Пришел. Секретарша велит подождать.

Через полчаса.

— Узнайте, пожалуйста, примут ли меня сегодня.

Проскользнула в кабинет, вернулась с моим заявлением. Сбоку наискосок красным карандашом начертано: «Принять на временную работу не представляется возможным». И размашистая подпись.

Теперь понятно, почему я так ухватился за курсы?..

Когда объявили прием на документальное отделение, забрезжила надежда: может, диплом сценариста откроет доступ в кино. А нет — хоть стипендия будет полтора года.

Успешно сдал экзамены. Оставалось собеседование. Собрался синклит мэтров.

— Зачем вы, критик и журналист, хотите поменять профессию!? — спросил директор Маклярский.

— Устал от инфляции слов. Изображение помогает кино обходиться без них.

Мэтры заулыбались — пролил елей на души.

И началось лучшее за все московские годы время. У нас не было постоянных преподавателей, зато уж лекторов приглашали самых ярких. Слышали А. Аникста, Ю. Давыдова, В. В. Иванова, Л. Копелева, А. Кончаловского, М. Ромма, А. Тарковского, Л. Трауберга, Б. Шрагина, Г. Чухрая и других. Смотрели фильмы — десять за неделю — наиболее примечательные фильмы от Люмьеров до наших дней. Обстановка складывалась свободная, недогматическая. Сочинения коллег обсуждали честно и откровенно.

Наступила пражская весна. Из чешского посольства привозили картины Хитиловой, Формана, Менцеля —

искусство, не связанное путами государственной цензуры, болевшее теми же болями, что и общество. Мы видели в этом признак скорого выздоровления. Казалось, еще совсем немного — и то же захватит нашу страну...

Советские танки, высекая своими траками искры из брусчатки Вроцлавской площади, раздавили наши ожидания. Узнали о Дубчеке в наручниках, о самосожжении Яна Палаха, о демонстрации у Лобного места, о суде над ее участниками. Курсанты из рук в руки передавали протесты против расправы над смельчаками. Все как-то сразу почувствовали: в этой точке сломалась эпоха, и последствия будут очень длительными...

11 декабря послали Александру Исаевичу Солженицину телеграмму в Рязань — поздравление с пятидесятилетием. Совсем немного, если прилагать исторические мерки, прошло с первой его публикации в «Новом мире», но сколь значительны в общественном сознании стали имя и книги писателя!

А тогда мне дали «Один день Ивана Денисовича» всего на несколько часов... Сидел в издательстве за рабочим столом, не замечая обычной кутерьмы вокруг. Не понимал, что застит взор, пока не обнаружил на журнальной странице влажные пятна. То были следы слез. Ни до, ни после не плакал над прочитанным...

К концу курсов я подготовил два сценария: «Памяти отца» и «Река моего детства». Их обсуждали на художественном совете.

— Тут протянута последовательная струнка лирического документального фильма, — сказал критик Михаил Матвеевич Кузнецов.

— Автор точно избрал свою тему и сделал поэтические документальные фильмы, вернее, основы для таких фильмов, поэтически-философские, очень современные по форме, — заметил киновед Сергей Владимирович Дробашенко.

Итог подвел председатель совета — начальник управления по производству документальных и научно-популярных фильмов Госкино СССР Алексей Николаевич Сазонов:

— Свое мнение не хочу навязывать, но из всех мне больше всего нравится тема слушателя Сиркеса. У меня предложение одобрить эту работу. Можно считать, что товарищ уже закончил курсы.

Приведенные оценки сценариев взяты из стенограммы, но до съемок дело не дошло. Уже и договоры со Свердловской и Молдавской киностудиями заключил, и пятьдесят процентов гонорара были выплачены. В первом случае главный редактор уральской хроники Миркин допер, что «Памяти отца» о его соплеменнике, и заявил:

— Нас не поймут, если мы сделаем такую картину...

Во втором — недопустимо правдивой оказалась история для экрана

Я забежал вперед. Пока идет только первый год на курсах. По кинопериодике слушателей натаскивает заместитель главного редактора из Российского комитета кинематографии Гораций Владимирович Дурман. Чем-то, видно, привлек его внимание — пригласил в офис.

— Паша, что думаете делать после выпуска?

— Писать.

— Начинаящему сценаристу не прожить без службы.

— Догадываюсь.

— Может, пойдете к нам? Оклад редактора — сто семьдесят. Командировки на студии — значит, связи. Два сценария в год — разрешенный минимум.

— Да ведь не возьмете...

— Это почему же?

— Недостаток у меня...

— Пьете?..— Выразительный щелчок по горлу.

— Еврей я, Гораций Владимирович, беспартийный еврей.

— Не может быть!

— Точно.

— Нет, я попробую, переговорю с руководством.

— Не надо — и вам, и мне напрасные хлопоты.

— Нет, нет, обязательно переговорю. Вернемся к этому после каникул.

Осенью он признал, что мои опасения оказались справедливыми.

Минуло несколько лет. Дурмана проводили на пенсию. Его приемница, не ведая о первой попытке, также позвала меня к себе в помощники. Не отступилась и после того, как рассказал о ней. Но результат был прежний.

Загинул бы без службы, если б не редкая профессия — сценарист. Вот и считал, что обязан курсам и их директору Михаилу Борисовичу Маклярскому.

— В советском учебном заведении не может быть процентной нормы,— говаривал Маклярский.— А в на-

шем — тем более! К слову, и среди основоположников кинематографа мы встречаем Эрмлера и Натана Зархи, Козинцева и Трауберга, Вертова и Шуб. Сам Эйзенштейн шутил: «Хоть я и не еврей, однако, с прожидью...»

У Михаила Борисовича хватало мужества и в Госкино отстаивать такую позицию.

И все же я был уверен: рано или поздно он обо мне вспомнит, бескорыстия его не достанет, чтоб не предьявить счета.

— Подвернулась работенка. Загляни,— позвонил однажды Маклярский.

Встретились.

— Есть возможность сделать документальную ленту о человеке из глубинки — о сельском милиционере. Давай вместе...

Заманчивое предложение и лестное: маститый, дважды лауреат Госпремии, а я — начинающий.

— Давайте.

Отправились к начальнику московской областной милиции, генералу.

— Молодой, талантливый, о нем «Правда» писала,— рекомендовал соавтора Михаил Борисович,— вместе будем работать.

Оказывается, старик не пропустил рецензию на мой фильм «Чистого вам неба».

Нас повезли в Шатуру, угощали карасями в сметане, поили коньяком. Поздней ночью Маклярский укатил. Ну, а я остался и еще неделю прожил с нашим будущим героем — сельским участковым Юрием Петровичем Ефремовым. Внешне он напоминал артиста Евгения Леонова. Да и доброй душой походил на многих его персонажей.

Мы целыми днями мотались на мотоцикле капитана по поднадзорной территории — ловили воров, выводили на чистую воду самогонщиков, пресекали пьяные драки. Возвращаясь, с холоду и с устатку опрокидывали рюмку-другую водки, отужинав, ложились спать на широкой тахте разделенные двумя одеялами. Но прежде, чем уснуть, Юрий Петрович долго вспоминал о деревенском детстве, о деде-богомазе, в чью избу, перебранную своими руками по бревнышку, он и привез после службы на флоте молодую жену. Между прочим, дед малевал не только иконы. Стены горницы украшали портреты Пушкина, Гоголя, Льва Толстого — дедовы работы.

Сроченность Ефремова с односельчанами воспринималась как естественная и непринужденная, отношения были простые, даже патриархальные. И что удивительно, так же строились они по всему участку, куда входило десятка полтора населенных пунктов. Совесть, природный такт безошибочно подсказывали Юрию Петровичу, где нужно вмешаться, а когда употреблять власть не следует.

Утром помчали по срочному вызову и увязли, будто нарочно, в снежном заносе. Вытолкнули тяжелый колясочный «Иж», газанули, прыгая через рытвины и ухабы. Мороз под двадцать градусов. Я насквозь промерз на ветру и даже не заметил, как что-то хрустнуло в позвоночнике. Вылез из люльки — распрямиться не могу. Потом рентген показал: два хряща лопнули.

Сценарий все-таки доделал, один. Маклярский только свою подпись под договором да в гонорарной ведомости изобразил. Так было оплачено мое приобщение к кинематографу.

Тут уместно коротко о самом Маклярском. Сын одесского портного, он был призван в пограничные войска и остался в органах. Затем, шелестел слушок, допущенный в охрану Сталина, проверял на себе, не отравлены ли блюда, подаваемые отцу народов. Дослужился до полковника. Сюжеты потаенного ведомства — ходкий товар на литературном рынке. Маклярский превращал их в сценарии, вовлекая в сотрудничество М. Блеймана, К. Исаева, а то кого-нибудь еще. В одиночку не выступал никогда.

Недолго сидел, за что — не распространялся об этом. Бывший узник Лубянки Авраам Шифрин свидетельствует. После ареста в мае пятьдесят третьего года его бросили в камеру, где находился Маклярский. Узнав о смерти генералиссимуса, тот заплакал:

— Теперь все кончено. Только на Иосифа Виссарионовича я и надеялся — ему нравились мои фильмы.

Михаилу Борисовичу исполнилось сорок семь, когда состоялся XX съезд партии. Он уже реабилитирован и в качестве члена Союза писателей заканчивает Высшие литературные курсы. А в шестидесятом — сам директор Высших курсов, только сценаристов и режиссеров.

В эпизодические наши встречи я подбивал Маклярского засесть за воспоминания — вы, мол, столько видели... Он отнекивался:

— Рано, придет время...

Значок почетного чекиста с разящим мечом носил в лацкане пиджака до конца.

...Представитель комиссии партконтроля посетил меня на дому — из-за гипса я лишился мобильности. Предстояло выяснить детали нашей работы, поскольку директор Маклярский обвинялся в злоупотреблении служебным положением, которое в том и выразалось, что он склонял к соавторству слушателей и выпускников возглавляемого им учебного заведения.

— Совместное творчество — это как любовь. Произведение, родившееся от такого союза, — ребенок, — лепил я скороспелые афоризмы. — Не стоит выяснять, чей вклад...

— Ну нет, кто-то работал больше, кто-то меньше...

— Претензий к Михаилу Борисовичу не имею — ни моральных, ни материальных.

Корсет с дырочками для проветривания был, наконец, готов. Влез в него, поддев футболку, чтоб не резал подмышками, не лип к коже, проковылял с десятков шагов — и хоть выжимай. А тут телеграмма:

«Срочно вылетайте монтаж озвучание фильма Капитанское поле Ленкинохроника».

Звоню Маклярскому:

— Да не пробовал я писать тексты, — отказывается он.

— С меня только вчера сняли гипс.

— Ехать надо вам, Паша. Половину расходов оплачу.

Доводили картину около недели. В комнате стояло два монтажных стола. На одном возлежал я, глотая таблетки седалгина, за другим сидели режиссер и его помощница.

После сдачи вздумал лететь к вам, отдыхающим на Рижском взморье.

— Билетов нет! — осадила меня диспетчер.

— Ждать не могу, — тихо, но внятно сказал я и постучал по груди костяшками пальцев.

Услышав странный неживой звук, она зачастила:

— Только не волнуйтесь. Здесь душно, жарко, отдохните на лавочке. Подготовят самолет, позову.

Спустя полчаса, взяла у меня паспорт, деньги, оформила билет и проводила до трапа. Добр русский человек к убогоньким.



Помнишь, ближайшими вашими соседями в столовой дома творчества оказались Шукшины. Саша уже успела подружиться с девочками, вы — познакомиться с матерью семейства. И только глава его дичился. За завтраком не видно — отсыпается после ночной писанины, оправдывалась за мужа Лида. Придет обедать ли, ужинать, не поднимает глаз.

— А что, читает Василий Макарович статьи о себе? — как-то поутру спросил я у Лиды.

— Читает, нам из бюро вырезки шлют. Вы почему спрашиваете?..

— И я, грешный, напечатал статейку.

— Где?

— В «Нашем современнике».

— Значит, то была ваша статья?! Вася мне показывал. Понравилась ему.

После обеда Шукшин всех нас удивил — подошел, поздоровался.

— Если не возражаете, буду ждать вас в холле.

Там, как обычно, писательский треп с перекурком. Шукшин одиноко дымит в стороне. Двинулся к нему, едва волоча ноги. Он привстал, помог усесться рядом.

— Где это тебя?

— На картине.

— И ты — тоже?.. Вот я и говорю: кино хребты ломает. А мне не верят... Статью твою принял. Посоветовал венграм вместо предисловия к моему сборнику, который готовят в Будапеште. Что у тебя за фамилия — Сиркес?.. Латыш?

— Нет, еврей. Ты разочарован?

— Как я могу?! Мой учитель — Михаил Ильич Ромм.

— И такое бывало.

Теперь вечерами мы часто тянулись береговой излучкой, разговаривали. Вася вспоминал о детстве на Катунь, раннем сиротстве. Ему было три года, когда в коллективизацию лишился отца. Макара Шукшина арестовали, опасаясь, чтоб не поднял мужиков на бунт. Середняк, беспартийный, но грамотный — к нему прислушивались на селе. И расстреляли ни за что, не посчитались даже с тем, что в семье пятеро детей. Младший, Вася, до шестнадцати лет носил фамилию матери. Поповых пощадили.

Сын врага народа, отматросив пять годков на Тихоокеанском военном флоте, поработал директором де-

ревенской вечерней школы и только потом надумал поступать в институт кинематографии. Приехал на экзамены, не представляя, что это за профессия такая — режиссер. Михаил Ильич Ромм был потрясен. Да не разыгрывает ли странный абитуриент приемную комиссию?.. Чем он там руководствовался, Ромм, одному Богу известно, однако, взял в свою мастерскую и на все годы стал и наставником, и другом, который строго вводил новичка в киноискусство и литературу. Писать Шукшин начал студентом. После ВГИКа слонялся неприкаянно по Москве без жилья, ждал первой постановки — фильма «Живет такой парень». Это время не пропало у него. Собрал в книгу «Сельские жители» рассказы. Она упредила режиссерский дебют.

Мы расстались до осени, когда он и попал в клинику гастроэнтерологии на Пироговской. Там-то у Васи и вырвалось в сердцах об отдушине. Врачи запретили ему курить. Тайком, из кулака, попыхивал сигаретой. И говорил, хотя казался молчуном. Слушал его и думал: вот ведь что значит носить занозу в сердце — быстрее умнеешь.

Неожиданную смерть Шукшина перенес так, как смерть родного брата перенес бы, если б он у меня был.

Гроб установили в Доме кино. Очередь к нему тянулась за несколько кварталов. Никогда раньше не наблюдал столь искренней скорби многих по чужому в сущности человеку. Стихийный народный траур, видимо, и убедил власти: хоронить надо на Ново-девичьем. В готовую могилу на Ваганьковском положили другого покойника.

Через пару лет Леонид Михайлович Кристи делился со мной:

— Делаю сейчас фильм к семидесятилетию Шолохова. Порядочные писатели шарахаются — не хотят участвовать в съемках.

— Стоит ли удивляться?..

— Шукшин выручил — последняя с ним беседа в «Литгазете». Совесть народа — вот кто сейчас Шукшин.

Передал разговор Лиде. Она удивилась:

— Как же Кристи это использовал? Корреспондент уверяет, что по ошибке стер магнитную запись. Скорее всего Вася не произносил тех слов, что появились в «Литературке»...

Летом знакомые помогли нам снять недорогую дачу.

Отвез семью и затеял ремонт, какого не было в нашей комнате с самого твоего рождения. Нашел двух мужиков, сговорился о цене. Они явились, развели грязь — и исчезли. Отыскал их на соседней стройке, приманил пол-литрой, обещанной после вечерней работы.

Так и повелось: днем я сбивал шпателем старые обои, выносил мусор, таскал песок и цемент, после шести заваливались гегемоны, принимались штукатурить, белить потолки. Их вдохновляла остужаемая в холодильнике бутылка «Московской». Чтоб дело спорилось, я посулил, — и тут дал маху, — что белоголовая не переведется у нас до конца. Стоило ли тогда торопиться?..

Сбивающий обои ползает по стенам, точно муха. Это положение создавало определенное преимущество, потому что можно было читать малодоступные газеты. Сначала добрался до тридцать шестого года. Эпопея Чкалова, Байдукова и Белякова предстала передо мной в зеленой свежести фразеологии, которая уже пожухла и не воспринималась, а в свое время завораживала преобразователей мира с бельмами на глазах.

Ползал и терзался мыслью: неужели в пору твоего рождения не было у страны (только-только отменили карточки) ничего более неотложного, чем перелет трех смельчаков через Северный полюс в Америку? Или другие, подобные же акции, вроде похода «Челюскина» (едва спасли затертую льдами экспедицию!), призыва командирской жены Валентины Хетагуровой к девушкам, дабы те ехали на Дальний Восток в поисках мужей, или дутые трудовые рекорды, способные вызвать лишь ложный энтузиазм. Теперь элементарный блеф таких мистификаций разгадать несложно. А тогда? Раздувая кампанию за кампанией, преследовали сразу несколько целей: отвлечь от повседневных неурядиц, дать пищу пропагандистской машине, удовлетворить нормальную потребность в сенсации.

Под нижним слоем обоев обнаружили «Русские ведомости» за июль 1911 года. В них явлен был мир, почти в то самое время, когда родился мой отец.

После ремонта у нас стало уютнее. И все же двум пишущим неподручно весь божий день оставаться в одной комнате, где тихо, точно мышка, стараясь никому не мешать, возится с хозяйством заботливая Мария Федоровна да попискивает не такая уж и крикливая, к счастью, наша дочка. Многие жили так же стесненно,

как мы. Но они уходили на службу, проводили вне дома восемь, с дорогой — девять или десять часов. Нам же не было спасения, если не забиться в читалку, не вырваться в дом творчества хоть на полсрока.

И наши ночи, когда была тяга, а за ширмой ворочалась теща. Она нембутал глотала, чтоб скорее и крепче уснуть. Тем и испортила печень — цирроз обнаружили через месяц после переезда в отдельную квартиру. Не порадовалась...

Нужно сдавать сценарий о генерале Родимцеве — в Москве не успеваю. Ты добиваешься в Литфонде недельной путевки для меня в Голицыно. Загородный покой помог — писалось хорошо, быстро. Лишь к вечеру ослабевал ток нужного будущей картине.

Как-то за час до ужина нагрянул пьяненький Юрий Осипович Домбровский.

— Айда на станцию! За водкой! Пятерка есть, и ты сколько-нибудь добавишь...

Я уж выполнил свой урок — и потому согласился. Мы накануне только познакомились.

Отправились втроем — за нами увязался собутыльник Юрия Осиповича, поэт, тоже бывший лагерник и тезка Домбровского. Мне казалось, хватит им пить, нарочно замедлял шаг, отвлекая спутников беседой, только бы не поспеть до семи — в семь, как известно, прекращается продажа.

Хитрость удалась. Назад возвращались без выпивки. Юрий Осипович заметно потрезвел и от прогулки, и от неудачи, и, должно быть, следуя ходу собственных мыслей, вдруг спросил:

— Твоя Тамарка — латышка?

— Нет, русская. Впрочем, по отцу она — еврейка. Жирмунские происходят из Вильно. Фамилия образовалась от названия предместья Жирмунай.

— Ты никогда не задумывался, почему в метрополии сейчас живут хуже, чем в прежних российских колониях?..

Он принялся рассуждать по поводу этого, действительно, парадоксального наблюдения.

Впереди, шагах в десяти от нас двигался враскачку коренастый плотный дядька. Мне не нравилась его спина, все казалось, он слушает спиной.

Свернули к воротам усадьбы, принадлежавшей когда-

то известному театральному деятелю Коршу, и до меня донеслось:

— Вы — писатели! — Это кричал дядька. — Вы жи-ды, а не писатели! Россию Америке продаете!

В следующий миг Домбровский был рядом с ним.

— Ах ты, сука, сука! — почти шептал Юрий Осипович и носком ботинка ударил его по щиколотке. — Я таких в лагере своими руками душил...

Они сцепились. Я кинулся разнимать. Дядька вонзил ногти в мои запястья, орал:

— Русский человек, зачем с жидами связался!?

Оттянул от Домбровского, потащил чуть не на весу вдоль улицы. Он бил себя в грудь с рядами орденских планок, грозился:

— Погоди, отставники наведут порядок в родной державе!..

Домбровский, касаясь своей национальности, говорил:

— Я поляк, но с примесью цыганщины.

Друг-стихотворец вовсе был великоросс. Права Марина Цветаева:

В сем христианнейшем из миров  
Поэты — жида.

После этого случая, Юрий Осипович и дал мне рукопись еще не законченного «Факультета ненужных вещей» — шестьсот с лишним страниц, отпечатанных на машинке.

Проглотив роман за ночь, я сказал:

— По моему, оба центральных образа — и Зыбин, и его антипод Корнилов обнаруживают единый источник — личность автора, как она подсознательно расщеплялась в иные минуты на стойкость и слабость.

— Неужели?! — сокрушенно воскликнул Домбровский. — Никому больше не говори, пока не помру...

А еще ты придумала снимать зимой комнату в дачном поселке «Литературной газеты» — платформа Шереметьевская, рядом с международным аэропортом.

У тебя вышла вторая книга, твое имя — стихи, статьи — часто появлялось в периодике, оттого и стало возможно не в сезон задешево поселиться в одной из клетушек деревянного финского домика.

Ехали пригородным с Савеловского вокзала.

Пассажиры электрички,  
почему у вас такие грустные лица?  
Не потому ли, что поезда  
начинают ходить в четыре тридцать?..

Долго протаптывали тропинку в свежевывавшем снегу. Над нами взмывали и опускались лайнеры разных авиакомпаний мира. Вот ведь летают, подобно птицам, поверх границ!..

Я привык к гулу самолетов  
на ближнем аэродроме.  
К человеческому дыханию за стеной  
привыкнуть не мог.

Наши соседи — молодые журналисты Тая и Саша Соколовы работали в штате, появлялись лишь в конце недели. Мы стали друзьями.

В полупустом поселке среди прочих обитало несколько еврейских семей. Это, видимо, раздражало Сашу.

— Умеют люди устраиваться, — неприязненно заметил он.

— А мы с тобой?..

Возразить было нечего, но принялся разглагольствовать в духе антисемитских стереотипов. Урезонил его. Оказывается, ему было невдомек, что я еврей. Внимательно и сочувственно слушал меня, когда рассказывал об истории моего народа. Для Саши все было внове. Такое часто случается: человек разделяет ходячие предубеждения только потому, что не вникнул в причины. Может, мне и удалось в чем-то поколебать Соколова. Через несколько лет он выехал из СССР, женившись на австрийской еврейке, и вывез свою талантливую «Школу для дураков», которую перед смертью успел приветить скупой на похвалы Владимир Набоков.

По обыкновению спешил в Центральный дом литераторов к открытию рабочей комнаты при библиотеке.

— Здравствуй, муж Жирмунской! — Такое приветствие могло бы показаться обидным, если б не добродушие, которое источали встреченные в вестибюле супруги-поэты. — Слышал, тебя на партсобрании Московской писательской организации критиковали!..

— Кто, за что?

— Парторг Аркадий Васильев — за потерю бдительности и неправильные разговоры с каким-то югославом.

Началось, подумал я.

Примерно через год после визита Михайлы Михайлова позвонил приятель из ТАССа:

— Приходи немедленно и ни о чем не спрашивай...

Тут впору было испугаться... Пока мчался к нему домой, все прикидывал, что же такое стряслось, коли сдержанный международник прибег к телефонному вызову.

Ни слова не говоря, он вручил мне перевод михайловского очерка «Лето московское 64-е», напечатанного в загребском журнале «Дело». Очерк делился на главки: «Владимир Тендряков», «Илья Эренбург», «Леонид Леонов», «Юрий Бондарев», «Белла Ахмадулина», «Тамара Жирмунская».

В этой, последней, говорилось: «В старинном, еще «царского времени», доме на улице Горького, в квартире, переполненной старинной мебелью, — вероятно, именно так должны были выглядеть обиталища чеховской интеллигенции, — большая светловолосая женщина, которую вы никогда бы не приняли за поэтессу, показывала мне фотографии многих выступлений «молодых»: Евтушенко, Рождественский, она... и толпы народа.»

Главка заканчивалась так: «Вскоре пришел муж поэтессы, редактор одного фильмового журнала. Благодаря этому обстоятельству я узнал много интересного о положении в советской кинематографии».

Далее шла главка под названием «Фильмы».

Муж поэтессы... Он, конечно, не ухватил фамилии. Значит, пришел муж поэтессы и рассказал о скандале с «Заставой Ильича». Вот когда я в первый и единственный раз порадовался, что скинули Хрущева...

Очерка тогда не дочитал, успел только пробежать глазами страницы, где было что-то про нехватку сигарет в Москве, самодеятельную проституцию. Текст был переведен наскоро — для начальства. Спихнулись лишь после того, как «Нью-Йорк Таймс» поместила на первой полосе его изложение.

Мы не сомневались, что реакция Союза писателей последует незамедлительно, и тебя пригласили в иностранную комиссию ССП.

— Познакомьтесь, что написал, ссылаясь на вас и вашего мужа, некто Михайлов. Как такое стало возможно?..

Ты прочитала известное с моих слов — ответ был подготовлен заранее:

— Ждала ребенка — и никого не принимала, но Михайлов настоял. Телефон ему дали в Союзе, все-таки гость из дружественной страны...

— Впредь не соглашайтесь на встречи с иностранцами, пока не проконсультируетесь с нами. Таков порядок.

Отделались легко. И вдруг через пять лет — эта критика нас, беспартийных, на партсобрании...

Я знал: ты будешь переживать из-за проработки. Поднялся на второй этаж, постучал в кабинет Васильева.

— Войдите! — откликнулся высокий благостный голос. За столом сидел круглолицый доброжелательный человек, похожий на священника, который сбрил усы и бороду. — Что скажете?..

— Я беспартийный и даже не писатель, но мне передали, что вы критиковали меня на последнем партийном собрании.

— Как ваша фамилия?

— Сиркес.

— Впервые слышу.

— Вы говорили обо мне, как о муже Жирмунской.

— А?.. Послушайте, однако, голубчик, что я о вас говорил... — Он достал из сейфа папку с бумагами и зачитал: «Муж Жирмунской рассказал Михайле Михайлову о положении в советском кинематографе». Видите, обошлось без резких оценок. И потом, вы попали в неплохую компанию — назывались достойные писатели. Речь шла о бдительности, когда имеешь дело с врагами.

— Меня волнуют не слова, а оргвыводы. Я не столько встревожен за себя, сколько за жену.

— И правильно!.. Впредь будете осторожнее.

— Тамара была тогда беременна, теперь же дочка в школу собирается — шесть с половиной лет прошло. Кстати, из-за своего интересного положения жена и не хотела принимать Михайлова, да еще в коммуналке, где маемся и сейчас...

— Как, вы до сих пор в коммунальной квартире? Я-то считал, вам давно выделили жилье... Присядьте. — Я сел. — Это безобразие, — продолжал Васильев. — Лично займусь. Скажите Тамаре, пусть придет ко мне, — полистал настольный перекидной календарь, — через две недели.



Теперь, обещав благодетельствовать, он, видимо, не сомневался, что найдет во мне признательного слушателя, и принялся вспоминать о своей чекистской юности. Оказывается, мы потому такие доверчивые и беспечные, что не получили смолоду закалки. Для политически верной ориентировки нужна школа и лучше — школа органов. Так говорил Аркадий Николаевич Васильев — парторг Московской писательской организации, бывший работник НКВД, автор книг о наших славных дзержинцах.

Ты была у Васильева в назначенный день Он тебя принял ласково, подтвердил, что нас внесут в список первоочередников на квартиру.

Уже и Васильев умер, и жилищными делами занялся один из секретарей столичного отделения Юрий Стрехнин, и Саша заканчивала первый класс, а всего восемь лет прошло после заявления с просьбой переселить нас из коммуналки, как вдруг случайно узнали: мы выброшены из списка.

Я решил действовать без твоего ведома — очень ты щепетильна! — добился приема у Стрехнина. Он разговаривал неохотно, косясь в окно.

— У меня нет ни метра площади. Моссовет должен в этом году пятьсот квадратов, пока не получили ни одного.

— А если я выбью квартиру, не отдадите ее кому-нибудь другому?

— Как вы можете выбить? — насторожился Стрехнин.

— Я автор фильмов о войне. За меня будут ходатайствовать наши известные полководцы.

— Кто, например? — В Стрехнине встал навтыяжку недавний отставник.

— Генерал армии Жадов, генерал-полковник Родимцев.

— Это меняет ситуацию. Таким людям Моссовет, конечно, не откажет. Письмо должно быть на зампреда — Сергея Михайловича Коломина. Выделят квартиру — ее получит ваша семья.

С генералами все было обговорено предварительно. Я набросал черновик, согласовал его, перепечатал, подписанный чистовик отвез в Министерство обороны СССР — полковнику, состоящему для поручений при

Жадове: бумага дол́жна не миновать учреждения, при котором состоят полководцы.

Смотровой ордер на квартиру получали в апреле. Не хотелось в Текстильщики. Мария Федоровна втолковывала нам, привередам:

— Берите, что дают. Я долго жить не обещаю. А втроем навсегда застрянете на Горького — без меня превысите санитарную норму.

До июня драил окна и двери от потеков краски, скоблил полы, долбил дыры под карнизы, врезал замки, вешал светильники — готовил переезд. Старался, точно обосновывался до конца дней: на обмен не хватит изворотливости, на кооператив — денег, и дочка сюда зятя приведет, и внуков здесь нянчить.

Мария Федоровна болела. Думали, радикулит. Оказалось — рак печени. Вместо новоселья справили поминки.

Нам с тобой надо было зарабатывать — ладить запоздалое, через десять лет, первое свое семейное гнездо. Я не гнушался никаких заказов, много ездил по разным городам.

В Саратове предложили фильм о Пятой гвардейской армии. Мы с режиссером Женей Гинзбургом просиживали в монтажной с восьми утра до двенадцати ночи, питались бутербродами и чаем.

В минуту роздыха, уже после окончания для всех трудового дня, заглянул на огонек в кабинет главной редактриссы. Там был и директор студии.

— Мы знаем, Павел Семенович, что вы родом из Молдавии, а кто вы по национальности? — спросила главная.

Тут в кабинет вошел Гинзбург.

— Так ли это важно?.. — задал я встречный вопрос.

— Да нет. Просто очень уж вы дотошный в работе. Такими бывают только евреи.

— В Молдавии все настолько смешано, что трудно выяснить, кто есть кто, — хитро закончил я разговор и гордо покинул помещение. Женя последовал за мной.

— Да как ты мог?.. — напустился он на меня, когда мы очутились в монтажной. — Немедленно вернись и скажи, что ты — еврей!

— Твоя правда, старичок, но не вернусь и никому ничего не стану объяснять. Ты думаешь, она спросила из праздного любопытства? Ей отчитываться об авторе перед обкомом...

Кое-где сообразили, что можно и по-другому. Из Свердловска, например, дважды присылали «Учетную карточку киносценариста», в ней пятая графа значилась второй: свели в одну, имя, отчество и фамилию, год рождения не интересовал. Просили заполнить. Я не откликнулся.

Встречаю знакомого режиссера. По внешности он — вылитый еврей, а по паспорту — украинец.

— У тебя что-нибудь снимается? — спрашивает щирый.

— Двухчастевка на ЦСДФ.

— И тебе дают работать на Центральной студии? — удивился и тут же сам себе растолковал: — Впрочем, существует легенда о твоём молдавском происхождении...

По Москве гуляла такая байка. Некий сценарист написал в анкете против пункта о национальности — иудей. Кадровик прочитал: индей.

— Да не индей я, я иудей, то есть еврей, — возразил сценарист.

— Значит, индейский еврей, — поправился кадровик.

Никогда не забыть мне истории с фильмом «Тайное и явное», сделанным на ЦСДФ. Я узнал о просмотре слишком поздно и в зал не попал. Стоял у будки кино-механиков снаружи, ловил комментарий. Диктор Леонид Хмара нагонял страху:

— Тысяча девятьсот двенадцатый год. Сионист Гинзбург учиняет Ленский расстрел... Тысяча девятьсот восемнадцатый — еврейка Фанни Каплан стреляет во Владимира Ильича Ленина...

Я стыл около аппаратной, внимая, как еврейские капиталисты приводили к власти Гитлера, как сотрудничали с нацистами, истребляли евреев-бедняков, выменивая на грузовики — «студебеккеры» тех, кто мог уплатить наличными, как провоцировали один за другим конфликты на Ближнем Востоке, как вызвали Карибский кризис, как подняли контрреволюцию в Чехословакии...

Тут распахнулись двери. Зрители могли бы и задохнуться от источаемых картиной миазмов. Этого не случилось. Жара заставила отпереть переполненный зал.

Теперь можно было присоединиться к стоявшим у входа, кому не хватило кресел.

Курильщики настаивали на перерыве. Поднялся главный редактор студии.

— Товарищи, мы работаем всего лишь час. Давайте, начнем обсуждение. Прервемся минут через тридцать.

Мне рассказывали, как сдавали немой вариант этого фильма — показывали изображение, параллельно читая с листа подготовленный дикторский текст. По мысли руководства, такой предварительный контроль исключает проникновение на экран ереси.

Зажегся свет. Слова попросил Леонид Михайлович Кристи.

— Если это выйдет, мне будет стыдно смотреть в глаза моим товарищам-евреям!

Другой режиссер — Леонид Владимирович Махнач добавил:

— После такого хочется немедленно бежать в ОВИР за визой...

Директор студии слегка пожурил авторов — Бориса Карпова и Дмитрия Жукова, дескать, малость пережали, но тема важная, нужная, следует еще поработать, кое-что сократить — десять частей слишком много, не мешает уточнить некоторые акценты.

Значит, только что смотрели заверченный фильм, урезанный на треть, — так сказать, чистовой вариант, в котором были учтены замечания художественного совета. Что тут началось!

Сценарист Леонид Браславский — гневный, багровый от негодования:

— Я обвиняю картину в антисемитизме. У нас есть закон против пропаганды национальной розни. Его надо применить к сфабриковавшим сие позорное произведение!..

— Почему пускают людей с улицы? — спросил, имея в виду Браславского, один из консультантов фильма известный борец с международным и внутренним сионизмом Елисеев.

— С улицы?! — загремел Браславский. — Я пришел сюда на костылях из госпиталя в сорок четвертом и поработал здесь двадцать пять лет!..

— Успокойтесь, Леонид Абрамович! — призвал его к порядку директор студии. — Послушаем других товарищей.

Другие товарищи — второй консультант и административного вида дама, чья фамилия попадалась тогда в печати под черносотенными статейками, некий специалист в штатском и авторы в один голос доказывали, что в фильме использована лишь малая толика фактов, что картина делалась как оружие в непрекращающейся идеологической борьбе, а оружие должно быть острым.

— Почему на нашей студии нельзя снять такую картину? — обратился к присутствующим главный редактор ЦСДФ, явно намекая, что допускает мысль о злых кознях сионистов и в Лиховом переулке. — Вот же никто не взялся, лишь молодой режиссер Карпов дерзнул...

И опять встал Кристи:

— Надо доказывать, а не форсировать голос. Думаю, организации, которые поручили эту работу, не благодарят за нее.

В зале были представители Кинокомитета, но они молчали.

Решили: фильм принять, выверить в процессе перезаписи текст, попросить диктора, чтоб читал его более нейтральным тоном.

Фронтной кинооператор Соломон Коган, встречавшийся с Брежневым в восемнадцатой армии, написал Генеральному секретарю, что демонстрация подстрекательского фильма может вызвать нежелательные эксцессы. Последовал запрос из ЦК КПСС. Из Госкино ответили, что лента не закончена, идет доработка.

Не дремали и сторонники «Тайного и явного». Его показывали влиятельным людям — писателям, журналистам, военным. На одном из этих вечерних неофициальных просмотров я и увидел фильм. Собралось человек пятьдесят. Узнал поэта Феликса Чуева, критика Олега Михайлова.

Картина начиналась так. Огромный кряжистый дуб во весь широкий формат. Листва, опутанная паутиной.

— Мы видели дерево, — комментировал Хмара с точно рассчитанной проникновенностью. — Казалось, оно погибнет...

Дальше события подавались в точном соответствии со словами, что слышал тогда у аппаратной. Под них шли склеенные вперемешку кадры и фото, надерганные с единственной целью доказать существование мирового еврейского заговора. Здесь сгодились нацистская хроника, материалы о создании государства Израиль, иконо-

графия геббельсовского ведомства, подтасовки «Союза русского народа», сюжеты Шестидневной войны. Экранизация «Протоколов сионских мудрецов» выглядела бы невинной мистификацией в сравнении с документальной фальшивкой.

И вот, наконец, эпилог. Тот же дуб в мерзкой паутине. Хмара повторяет зачин:

— Мы видели дерево... Казалось, оно погибнет...

Сгущаются тучи. Небо раскалывает сокрушительный удар грома. В свете молний потоки очистительного ливня смывают нечисть, опутавшую крону могучего дуба.

— Нельзя, нельзя показывать, — сказал кто-то из сидевших сзади. Я обернулся. Бледный генерал-майор стоя повторял: — Нельзя — погромы будут!..

— Пусть народ знает, что они творят, — не согласился с ним не известный мне зритель.

Утверждали, что «Тайное и явное» прикрыли. Но я сам читал рецензию на него в провинциальной газете. Автор, между прочим, с еврейской фамилией хвалил злободневный, остропублицистический фильм.

Уехал Леня Дондыш.

Уехали Ладыженские.

Уехал Леня Кацевман с семьей.

Уехали Жанна и Вика.

Уехал Наум.

Уехали Софа и Илья.

Это только из друзей и близких.

Уехали Баухи.

Евтушенко поманил меня в ЦДЛ.

— Слышал о Гладилине?..

— Слышал.

— Смотри, не сотвори такой глупости...

Уехали Володя Соловьев и Лена Клепикова.

Уехал дядя Фима с семьей.

Уехал Марк Поповский.

Уехали Рива и Илюша, и Муся, и дети.

Уехали Инна и Лена Гордины.

А Марк Гордин остался...

Мы познакомились с Мариком на объявленном, но не состоявшемся открытии литературного кружка. Он

учился в седьмом «б», я — в седьмом «а». Каждый из нас знал о другом. Марик был популярный в школе и в городе спортсмен — бегун и боксер. Ну, а меня он заметил по виршам в стенгазете да комсомольской мельтешне.

Заседание отменили: только мы двое и явились на него. Домой пошли вместе.

Мне представлялось странным, что склонность к мордобою может сочетаться с любовью к литературе. Ему, как он впоследствии признался, хотелось понять, что движет человеком, который пытается рифмовать в языке, где было столько великих поэтов.

Добрели до нашего парадного. Я извинился, что не могу его пригласить — мама затеяла ремонт.

— Вот и хорошо, — улыбнулся Марик. — Двинули тогда к нам — у меня отдельная комната.

Гордины обрадовались приходу гостя. А мой новый приятель возьми да с порога и заяви родителям, что привел товарища, который поживет с ним вместе несколько дней.

Отец, Лев Абрамович, подобрал костыли, приветливо сказал:

— Располагайся, как у себя.

Мать, Настасья Назаровна, так лучилась добротой, что и без слов было ясно, ее отношение к неожиданно-му постояльцу.

Странной все же они смотрелись парой — бывшие лосиноостровская швея и кишиневский портной. Лева Гордон (начальная его фамилия) был призван на войну четырнадцатого года из Бессарабии. Раненый попал в московский госпиталь, потерял ногу. Пока рубцевалась культя, Заднепровье оказалось по другую сторону границы. Некуда было податься инвалиду, вот он и осел в белокаменной. В двадцатом вступил в партию, как рабочий от станка, то бишь швейной машинки, потом учился на рабфаке и в Коммунистическом университете имени Свердлова. Тогда в университете одновременно читали лекции и Троцкий, и Сталин. Спустя много лет, уже после XX съезда, Лев Абрамович рассказывал мне, что слушать Троцкого сбегались толпы народа, у Сталина в аудитории бывало пусто.

Со временем большевик Гордин достиг положения инженера-технолога на одной из московских швейных фабрик. Настасья там же была рядовой портнихой. Со-

шлись свежеепеченный интеллигент-еврей, революцион-  
ный энтузиаст и мечтатель, и простая русская женщина,  
не очень пригожая собой, но сердечная и верная, твердо  
ступающая по земле. У него в целой стране Советов и  
кровиночки родной не сыскать, а она такая надежная и  
по-матерински преданная. Сложили семью.

Дети росли чувствительные в Льва Абрамовича, доб-  
рые в Настасью Назаровну. Дочь Лида, в эвакуации, в  
Томске, окончила университет, стала учительницей рус-  
ского языка и литературы. Профессия, что называется,  
по ней. Марик же был слишком восторженным и мягким  
для мальчишки. Потому-то и занялся боксом, ломая соб-  
ственную натуру, изводя себя легкоатлетическими тре-  
нировками, укрепляя волю.

После моего гостевания у Гординых мы проводили  
вместе с Мариком все свободные часы. Он читал мне из  
сестриногo студенческого альбома «Хочу быть сильным,  
хочу быть смелым...», «Это было в Гренаде, где ажурная  
пена...» и другие стихи. Я усвоил их с голоса нового дру-  
га. Ни Бальмонта, ни Северянина у нас в ту пору не  
издавали. «Как хороши, как свежи были розы...» нелю-  
бимого мной Тургенева Марик декламировал с тем из-  
бытком экспрессии, что лишь усугублял выпренность  
писателя. Меня это раздражало, и я не скрывал своего  
непрития такой манеры чтения.

Прогуливаясь по центральной тираспольской улице,  
остановились поболтать с ребятами. Разговор, как во-  
дится в подобных случаях, велся малосодержательный,  
но безобидный. И вдруг Марик резко ткнул меня кула-  
ком в челюсть. Даже отреагировать не успел — он уже  
прильнул ко мне со слезами на глазах.

— Пашка, дорогой, прости!.. — Я его отталкивал, Ма-  
рик не отставал. — Прости! Хочешь, стану перед тобой  
на колени?.. Так тебя люблю, что решил проверить, смо-  
гу ли ударить...

После школы Марик поступил в Одесское высшее мо-  
реходное училище. Многие ему завидовали в нашем су-  
хопутном городишке, удаленном от Понта Эвкеннского  
всего на сто десять километров. Приезжал на побывку  
в широких клешах, в форменке с травленным в хлорке  
гюйсом, вызывая восхищение пацанов, которые бредили  
романтикой опасных странствий.

Первая же учебная практика показала, что юноше-  
ские грезы и реальность современного торгового



флота не имеют ничего общего, большинство нынешних моряков интересуется только тем, что, почем и откуда везти. Марику претило дялячество. Кое-как дотянул до третьего курса и перевелся в водный институт.

Мы поддерживали связь и в эти годы — переписывались, наезжали друг к другу. Химеры не оставляли его, но становился, вроде, трезвее, начинал видеть мир в истинном свете.

Назначение получил в Нарьян-Мар. Слал оттуда длиннющие лирические послания. Потом пухлые конверты доставлялись из Ильичевска — места новой работы. Жаловался на скукоту диспетчерских обязанностей, провинциальную затхлость своей жизни. Мечтал вырваться в Москву, где на Пятницкой пролетело довоенное счастливое детство. И все ему мнилось, что стоит лишь очутиться в столице, как судьба переменится.

«Срочно вышли десять рублей тчк Марк». Пожалуй, он меня удивил этой телеграммой. Деньги я, конечно, отправил тотчас. А при встрече спросил:

— Что у тебя тогда стряслось, что послал депешу?

— Решил проверить друзей — и всем отбил одно и то же. Отозвался только ты.

— А если б все?..

— Вставил бы зубы.

В Москву Марик возвратился, женившись на Инне. Она не походила на девушек, в которых он обычно влюблялся, но привязался к ней, женой была хорошей, преданной. Родилась Ленка — тепёрь, казалось, наступил покой.

Иннина семья — Ладыженские. Происходили из Тирасполя. Рауль Моисеевич, уважаемый в нашем городе врач, был в тридцать седьмом году обвинен во вредительстве и сгинул. Близким его досталось лиха, потому после эвакуации они осели в Кишиневе, чтобы поменять обстановку. Окончив десятилетку, старший сын Володя пробился в Московский областной пединститут, затем и младшая дочь Инна поступила в Ленинградский пищевой. Вдова, Фаня Давыдовна, исхитрилась получить за кишиневскую квартиру комнатку в Москве — только бы быть еще дальше от места, где несчастье постигло мужа, где каждое лыко было в строку родственникам «врага народа».

Постепенно все собрались вместе. Володя, удачно выступавший в самодеятельности, перескочил на профессиональную эстраду, в конферанс. Инна устроилась инженером-технологом на заводе, Фане Давыдовне довелось работать не то приемщицей, не то ретушером в фотографии.

Марик влился в эту дружную, спаянную, сбитую горем семью, но не стал в ней своим. Его приняли как необходимость, как неизбежность: дочери и сестре нужен супруг. Всегда оставался зазор — почти неуловимое для посторонних отчуждение.

Когда Ладыженские надумали эмигрировать, Марик пришлось признать: да, причины веские. Главное — обида за отца. Второе — артиста не пускают в зарубежные гастроли. Ну, и быт, конечно. Инне надоело в коммуналке с воинственными соседями, а видов на самостоятельное жилье — никаких. Марик обещал поехать через год после отлета тещи и зятя.

Минул год, и засобиралась Инна, и принялась торموшить Марика. Он тянул с решением, ссылаясь на родителей, хотя те и не были против, и даже нужную бумагу об отсутствии к сыну материальных претензий выправили. Ему ли было не знать, что в душе они не готовы к предстоящей разлуке навечно?..

Наконец, Марик сказал «да», вызов получен, назначили дату похода в ОВИР. Требовались справки со службы.

Инне справку выдали вместе с расчетом. На следующий день и Марик отправился в свой НИИ.

— У нас до сих пор не было ничего подобного, — упрекнул директор НИИ непатриотичного сотрудника. — Надо проконсультироваться. Приходите завтра.

Назавтра директор призвал себе в помощь секретаря партбюро и председателя местного комитета.

— Значит, бросаете, предаете Родину? — начал секретарь.

— Так сложились обстоятельства — год назад уехали мать и брат жены, — объяснил Марик.

— Вы муж или не муж?.. Прикажете жене выбросит дурь из головы.

— Я пытался — не получается.

— Пусть уматывает одна!..

— А дочка? У нас же дочка пятнадцати лет.

— Отнимем у изменницы-матери дочку.

— Как можно?..

— Девочка вырастет — не поблагодарит, что ее увезли к буржуям.

— У тебя ж родители живы — неужели бросишь стариков? — задел за большое председатель месткома. — Жену-то и другую найти можно, мать с отцом — никогда...

Марик плакал, передавая мне этот разговор. Его ломали битых два часа и отпустили со справкой, удостоверяющей, что он не возражает против отъезда Ленки с Инной, — подпись заверили, печать поставили. Инна, увидев принесенную бумагу, сказала:

— Мне обратного пути нету. Поедем без тебя.

Наша последняя встреча происходила на Страстном бульваре.

— Вы не должны разлучаться, — как заклятье твердил я Инне и Марику, будто предчувствовал беду.

— Немного поживу один, дозрею. И родители поймут, что нельзя без семьи, — говорил он.

— Господи, сколько нужно, столько и буду ждать. Только приезжай! — говорила она.

1 сентября 1976 года в Шереметьевском аэропорту провожали Инну и Лену Гординых. Был унижительный таможенный досмотр, чего-то не пропускали. Все разнервничались и даже толком не простились. Марик глотал слезы, не в силах вымолвить ни слова.

После проводов сидели в кафе «Охотник» на улице Горького, глушили водку. Вроде, полегчало. Только Марик не успокаивался, не мог себе простить, что накануне вечером ударил Ленку, без спросу убежавшую в кино с подружками и заставившую волноваться мать.

— Она мне этого никогда не забудет...

Мы как раз на неделю отлучались из Москвы, и я предложил Марику пожить в нашей квартире. Он охотно согласился.

Когда вернулись, нам показалось, что ему удалось побороть отчаяние. Ты оставила нас вдвоем. И тогда услышал признание:

— Отдельная квартира — это хорошо. Только мысли разные в голову лезут... Хоть руки на себя накладывай.

— Сказал — значит, никогда не сделаешь! — Я не нашел ничего лучше успокоительного психологического стереотипа.

Он метался, пил, сблизился с сослуживцем — тихим алкоголиком. Тот угваривал Марика креститься:

— Церковь тебе поможет.

— По моему, сначала надо поверить. И разве в обряде суть?.. — Притертый другом к стенке, я не мог скрыть своего отношения к обращению в христианство. Марик отвечал, что не безбожнику говорить такое. Сослуживцу ведомы тайны познания высшего, ему, полиглоту и златоусту, доступно мистическое откровение, а что изгнан из АПН за пьянку, так это лишнее доказательство в его пользу.

Тебя не было дома, когда Марику удалось навязать мне их с сослуживцем визит. Заявились тепленькие, с бутылкой «Старорусской» в портфеле. Я собрал на стол. Опрокинули по рюмке, закусили. Марик стремился вызвать нас на открытую доверительную беседу. Не получалось. Второй гость отводил глаза, держался как человек с нечистой совестью.

Напряженность снял твой приход. Подкинула что-то, связанное с религией. Сослуживец оживился и, действительно, обнаружил эрудицию в теософских вопросах.

Вскоре я отбыл в месячную командировку, а когда вернулся, Марик объявил, что 6 декабря подал на выезд.

— Ну, слава Богу, теперь успокоишься! — подбодрил его я.

Вопреки ожиданию, он не обрел душевного равновесия. Перестал есть, спать. И плакал — теперь и всегда чувствительный, мой друг плакал по любому поводу. Без врачей было не обойтись.

В психоневрологическом диспансере давали направление в стационар — отказался:

— Назовут сумасшедшим и не выпустят, — делился Марик со мной своими опасениями.

Ограничился таблетками, которые прописал невропатолог. До-прежнему искал облегчения в вине, пускался в бесконечные, надрывающие сердце обсуждения — ехать или не ехать — с товарищами, знакомыми. Подсел к старикам, играющим в шахматы на бульваре.

— У меня жена и дочь в Америке, зовут к себе. Как, по-вашему, ехать или не ехать?..

Инна слала нежные письма, сообщала, что все налаживается, только бы он быстрее соединился с ней и с Ленкой. Вскользь заметила — счет на их трехкомнат-

ную квартиру в Бостоне заполнен на его, Марика, имя.

Писала и Ленка. Он зачитывал вслух слова дочки-ной любви и говорил:

— Это неискренне. Ее мать заставляет. Не забыла пощечину...

— Дети не злопамятны,— уверял я его.

— Свою дочку я лучше знаю. Нет, нельзя мне туда. Буду им в тягость. Не хотят расстраивать — вот и врут: хорошо, хорошо...

— Тогда ты там еще нужней!..

— Пашка, ты не бывал на Западе, а мой новый друг исколесил его вдоль и поперек. И он предупреждает: пропаду я в Штатах. Откажись, говорит, пока не поздно, найдем тебе женщину, обвенчаешься по-церковному — и заживешь, в ус не дуя...

— Он не агент КГБ — твой новый друг?..

Разрешение ожидалось во второй половине февраля. ОВИР медлил. Марик совсем терял самообладание.

— Откажут. Не пустили же работать за границей из-за... Львовича. Гордин Марк Львович! Ежу ясно, без еврея не обошлось. Толку-то, что числюсь русским!

— Дурачок! Тут тебе и поможет еврейская половинка. Женский праздник на носу, почта загружена, потому и нет открытки.

Первого марта он позвонил:

— Приезжай. У меня Борька. Разругался с женой и переселился ко мне. Сидим, пьем, тебя ждем...

В тот вечер я был занят, пообещал навестить их на другой день.

Они, как и вчера, бражничали — наш земляк Борис, Марик и его сослуживец. Невесело было за столом в чернильных пятнах портвейна-бормотухи. Налили и мне. Проглотил, превозмогая отвращение.

— Павлик, ты сказал, что он,— Марик кивнул в сторону сослуживца,— агент КГБ. Я спросил, так ли это. Нет, говорит.

Я твердо посмотрел на подозреваемого, и тот впервые не отворотил взгляда.

— Да, сказал.

— Был агентом,— произнес сослуживец,— но не догадывался об этом. А когда узнал, сразу порвал.

— Порвал?..

— Конечно, я на крючке. А ты не на крючке?.. Все

мы в одинаковом положении — и ты, и ты, — указывал он пальцем на каждого из присутствующих, — все!

— Так что мне делать? — растерянно спросил Марик.

— Держись своего решения, — посоветовал Борис.

— Чего ему там искать? Он ведь русский человек, — возразил сослуживец.

— А как в Совфрахт сунулся, оказался евреем, — напомнил Марик.

— С евреями не соскучишься, — сказал Борис. — Моя Лида двадцать лет проработала на заводе, в цеху, надоело ей. Попробовал в НИИ устроить с помощью друга. Тот переговорил, с кем надо, велел обратиться в отдел кадров, а там — отказ. «Что ж ты меня перед женой позоришь?» — предъявляю претензию другу: «Ты ж не предупредил, что она у тебя еврейка...»

— Теперь я понимаю и тех, которые едут, и тех, кто возвращается и потом пишет покаянные статьи в «Известия», — горько сказал Марик.

Я ушёл за полночь, торопился — не опоздать бы на метро. Марик вызвался проводить.

— Как же я тебя люблю! — с хмельным воодушевлением воскликнул он, когда мы вышли.

— Не женщина, нечего объясняться в любви! — грубо оборвал я его. — Лучше не болтал бы лишнего — поберег бы меня...

— Не волнуйся, он свой.

— Левка — тоже свой. А к чему привела твоя трепотня?..

Помнишь инцидент на школьном юбилее? Обвинения в сионизме, что обрушил на мою голову Дронин, были невольно спровоцированы Мариком. Мне стало об этом известно сразу же по возвращении в Москву.

Позвонил Марик, говорил заплетаящимся языком:

— Паа-шка, срочно нужно п-овидаться...

— Ты пьян!

— Да, мы поддаем, — услышался в трубке дронинский голос, — но ты нам нужен.

— Мы с тобой уже обо всем договорились.

— Пашка, не держи зла, — умолял Марик.

— Я хочу извиниться, — вставил Левка.

— Ладно. Вы где?

Через час мы сидели в ресторане Центрального дома журналистов.

— Подайте друг другу руки,— попросил Марик.— В вашей ссоре виноват я. Поделился с Левкой планами об отъезде. Он: «Какого мнения Пашка?» Ну, сказал, что ты одобряешь.

Дронин стал оправдываться, я его оборвал.

— Пусть лопушок посмотрит Америку, сравнит,— говорил Левка, будто Марика здесь и не было.— Один, без жены пропадет...

— Не смогу я без России, без березок,— жалился Марик.— В петлю полезу.

— Чего уж проще — дважды вешался,— сказал Дронин в свойственном ему стиле ленивой бравады.

Когда-то, в восьмом классе, он уже рассказывал о своих неудавшихся покушениях на самоубийство. В первый раз оборвалась веревка, во второй — вытащил отец.

— Что тебя заставило? — спросил я.

— Дурость.

— А что вразумило?

— До трех раз судьбы не испытывают...

Марик тоже, кажется, слышал тогда Левкин рассказ, но теперь принялся допытываться:

— Что ты чувствовал?

— А ничего.

— И больно не было?

— Сначала больно, потом даже приятно, будто в сон впадаешь. И что-то похожее на оргазм...

Все это происходило летом. Сейчас же мы идем с Мариком к станции метро «Колхозная» — ночь со второго на третье марта семьдесят седьмого года.

— На чьи деньги пьете?

— Сегодня на мои — получил зарплату.

— Много осталось?

— Рублей шестьдесят.

— Отдай мне.

Он вытащил пачку смятых ассигнаций, пересчитал. В пачке оказалось семь десятков.

— Ну, вот что, сказал я, — червонца тебе хватит на два дня? У меня будут цели.

— Всю неделю пили на Борькины. Теперь — моя очередь.

— Пора кончать!.. Я присоединю эти шестьдесят к тем пятистам. Тебя на днях могут вызвать в ОВИР...

Ты знаешь, когда я настоял, чтоб весь Мариков капитал хранился у нас..

Среди причин, мешающих ему ехать к семье, он называл и невозможность собрать тысячу триста рублей. Вычислил, что ровно столько нужно на оплату отказа от советского гражданства, визы, на обменную валюту и экипировку.

— В Европу — голодранцем?.. Нет, куплю приличный костюм и кожаный чемодан! — горячился он.

Потребной суммы не набиралось — Марик пил. Вот потому-то я и предложил отдавать мне деньги на хранение. И еще вызвался собрать у друзей — кто сколько даст — недостающие.

Как рассказать о последнем нашем общении?

Девятого утром он сообщил по телефону:

— Наконец-то пришла открытка! Поздравь меня! Ждал, ждал, а теперь не знаю, с чего начать...

— Сходи в институт — объяви, что получил разрешение, подай на увольнение (его держали на работе до последнего дня), попроси подготовить расчет.

— Так и сделаю.

Мелькнула мысль: взять Марика за руку — и всюду вместе, до самого трапа в самолет. Но отогнал ее. Что он, маленький?.. И не получилось бы, что боюсь, как бы не соскочил, выпихиваю. Пусть все сам, в Бостон к Инне и Лене он попадет месяца через четыре. Надо привокать.

— Держи меня в курсе.

Позвонил вечером:

— Нужны деньги.

— Платить собрался?

— Нет, я никуда не еду. Я вызвал... — Он произнес имя женщины, которую не буду называть. Да, не обошлось без женщины...

— Денег не дам! — крикнул я и бросил трубку.

Утром — снова звонок:

— Хоть пятьдесят рублей... ,

— Если встретишь и вручишь обратный билет. Приезжай, я дома до одиннадцати.

— Мне перед Тamarой стыдно...

— Тогда в одиннадцать у нашего метро.

И еще звонок:

— Что у Марика? — интересуется одноклассник, который тоже подумывает об эмиграции.

— Получил разрешение, но хочет от него отказаться.



Вызвал какую-то бабу из Кишинева. Деньги, говорит, нужны.

— С этим пора завязывать. Отдай ему его деньги, и пусть делает то, что считает нужным.

Пятьдесят рублей сунул в нагрудный карман, остальные положил во внутренний.

Марик ждал у Текстильщиков вместе с Борисом. Поздоровались. Борис деликатно отошел в сторону.

— Так что ты решил?

— Остаюсь. Мы поженимся, обменяем ее кишиневскую квартиру и мои комнаты на роскошное жилье в Москве — начнем все по новой.

— Она переберется сюда со своими сопливыми, как ты сам говорил, детьми, ты станешь пить еще больше — и тебя выгонят на улицу. А на работе?.. Думаешь, теперь твой директор обрадуется, что остаешься?.. Борька! — позвал я маявшего неподалеку земляка. — Чего ты там стоишь? Ты ведь тоже друг. Подойди, послушай, что он мелет. — Борис приблизился, но стоял молчком. — Болтаешься, как дерьмо в проруби! — Кажется, я уже орал. — Для чего затевал всю эту возню?.. И почему именно она, которая для тебя должна быть табу?.. Нет большего падения для мужчины, чем пожелать жену живого своего родича! — Достал деньги. — Тут все... И больше не втягивай меня в свои дела!

Клянусь неотмолимую ту минуту и те слова.

— Паша, зачем ты с ним так? — с укором сказал Борис. — У него ведь душа мягкая...

— Я дам знать, — пообещал Марик.

— Не надо. Как-нибудь дойдет, что у тебя, — бросил я и нырнул в метро.

Сказать-то сказал, но сердце за него болело, и несколько раз просил одноклассника, чтоб позвонил Марику. Он набирал номер. Соседи отвечали, что никого нет. То было десятого.

Вечером одноклассник отбывал в Тирасполь. С Киевского вокзала при мне (я его провожал) он снова пытался связаться с Мариком. И снова безрезультатно.

Все-таки было спокойнее от сознания, что при нем Борис.

Одиннадцатого меня дважды спрашивала по телефону какая-то женщина. Саше голос показался хриплым. Я подозревал, что это она, Марикова зазноба.

Потом, тринадцатого, в воскресенье, я ее разыскал

в Кишиневе. Она подтвердила, что звонила, а диск вращал Марик. Хотела переговорить еще и перед вылетом, но не вспомнила номера.

— Что он вам говорил при расставании?

— Сказал: «Уйдешь — я повешусь!» С ним что-нибудь случилось?

— Как же вы его оставили?..

— Я бросила детей на большую мать. Мы условились с Марком, что в понедельник он оформит отпуск и прилетит. У меня подруга — врач в психбольнице. Решили, ему надо подлечиться. Он болен. Не могу же я выйти за него, когда он в таком состоянии... Уже в дверях столкнулась с соседями. Посматривайте, сказала, тут за ним — грозил повеситься...

— Нет больше Марика.

Я узнал страшную новость два часа назад.

В шесть позвонил Дронин:

— Ты не в курсе, что с Мариком?

— Нет.

— Только что разговаривал с Борисом. Он позвал его к телефону, подошел незнакомый мужчина, отрекомендовался работником милиции. «Вы ему кто?» — «Друг». — «Можете сейчас приехать?» — «Да, только я далеко.» — «Ну, тогда жду вас в отделении...» Больше ничего не сказал.

— Борис ведь жил у него...

— Жил, пока какая-то баба не приехала.

— Беру такси, подхватчу вас на площади Революции.

Мы отыскивали отделение милиции в переулке близ Сретенки. Напротив располагалась забегаловка, настоящий гадюшник, рядом с которым всегда толкуются мужики, цедят пиво из захватанных стеклянных кружек.

— Наверно, зашел сюда и с кем-нибудь подрался, — предположил Борис.

Обратились к дежурному.

— Вы насчет Гордина? Восемнадцатая комната.

Поднялись на третий этаж. Нужная дверь была заперта. Стояли рядом, дожидаясь сотрудника.

— Не наложил ли он на себя рук? — сказал Дронин.

Появился молодой человек в штатском, пригласил в кабинет.

— Вы по поводу Гордина? Кем ему приходиться?

— Друзья, — сказал я.

Следующая фраза оперативника до меня не дошла, прозвучала невнятно.

— Но он жив? — спросил Дронин.

— Мертвее не бывает, — ответил оперативник. — Что можете сообщить о причинах самоубийства?..

— Мы сейчас не... нам надо придти в себя. Дайте свой телефон или запишите наши, — сказал Дронин.

У гадюшника происходила обычная жизнь. Компания парней осаживала пену в кружках струей из поллитровки.

— Надо выработать единую версию, чтоб чего лишнего не сболтнуть следователю, — услышал я Дронина. Он понимающе на меня посмотрел. — Ты как думаешь?..

— Зачем?

— Павел, не горячись! — сказал Борис. — Марка нет. Ему ничем не поможешь. Но имя трепать, копать в белье — не надо. Будем у тебя завтра после семи и все обсудим.

На другой день мы процедили правду. О женщине — ни слова. Эмигрировали жена и дочь. Тосковал по ним, но и бросить отца с матерью. Родину не мог. Разорвался.

Прилетела сестра Лида. О несчастье ей сообщили кружным путем, через подругу, чтоб не убить телеграммой стариков. Вопреки ожиданию, Лида держалась мужественно.

— Где он? Оставил записку?

— Надо спросить у следователя.

Поехал с ней в милицию. Молодой оперативник достал из сейфа дело, извлек несмятый бумажный лист, ничем не отличающийся от того, что сейчас передо мной:

«Дорогие мои папа, мама, Лидочка, Наташенька!

Простите.

Надоело мучиться, надоело страдать.

Вчера сделал непоправимую ошибку.

В этой жизни все осточертело и обрыдло. Та — пугает, тревожит...

А в общем-то не могу я приспособиться ни к той, ни к другой жизни.

Надоело жить.

Простите за причиненную боль.

Но мне тоже очень гадко.

Прощайте!

Иночка и Павел были во всем правы. Они мудрые...

Борис, дорогой, прощай!

Телефон в Тирасполе

95306 (здесь был указан и телефонный номер женщины)

Деньги и все прочее

Лиде и Наташе.

Я не первый, я не последний.»

Оперативник сообщил, что в пятницу, одиннадцатого, Марик в сопровождении знакомой был в ОВИРе. Он отказался от разрешения на выезд, и тут с ним случилась истерика. Заявление пришлось составлять женщине. Он только подпись поставил.

При выходе из кабинета следователя нас с Лидой перехватили два сослуживца Марика. Вид у них был виноватый, побитый. Они сочувствуют, администрация соболезнует, какое горе! Вот сумма за неиспользованный отпуск и фактически отработанные дни. При выносе тела кто-нибудь обязательно будет, но на гражданскую панихиду рассчитывать не приходится — тут, знаете, особые обстоятельства.

— Ладно, ладно, — сказала Лида, — мы сами...

Из милиции мы отправились на квартиру. На столе лежала стопка бумаги. Верхний лист повторял последние слова Марика — оставила след шариковая ручка.

Заглядывали помягчевшие соседи, рассказывали, что всю субботу без конца звонили. Они стучали в дверь — ключ торчал в английском замке, — но никто не откликнулся. Он и раньше иногда оставлял ключ. Это не встревожило.

И только в воскресенье, когда утром он не прошел в ванную и потом не появился до обеда, отперли комнаты.

Марик висел на крюке для люстры. Веревку он сплел из синего упаковочного шнура.

Надо было думать о похоронах.

Мы с Лидой колесили по Москве. Взяли в морге справку. Без нее свидетельства о смерти не выдадут. А вместе со свидетельством дали другую справку, по которой пособие на покойника положено. Вот ведь как еще можно выйти из советского гражданства — не полтысячи платить, двадцатку отвалят...

Потом покупали гроб, заказывали венки, цветы, автобус и кремацию.

Лида не хотела, чтобы брата поминали в запущенных пустых (две раскладушки, стол и несколько стульев — остальная мебель продана) комнатах. Ты, спасибо тебе, предложила устроить тризну у нас.

Похоронные хлопоты отвлекли. Не нарочно ли все так осложнено, чтобы близкие умершего не имели возможности предаваться отчаянию?..

В последний путь он отправился из морга. Лида сказала, что после отъезда жены и дочки дома в Москве у него не осталось.

Мы приехали, когда Марика еще обряжали. Я подошел к стоявшим группой троим моим соученикам.

— Не уберег ты его, Паша,— встретил меня один.

Не успел ничего ответить да и не ответил бы — звала Лида: служителью понадобилась какая-то квитанция.

Ты находилась недалеко, расслышала реплику одноклассника.

— Да как так можно! Если человек повесился, значит, виноваты мы все, кто его окружал. И я виновата, и Павел, и каждый из вас...

Я тебе благодарен за эти слова.

И за поминальной трапезой не наступило мира. Подпив, тот, кто меня укорил, и присоединившийся к нему Дронин говорили, что мой это грех, потому что я был с ним ближе всех, и любил меня больше всех.

Сослуживец Марика, порвавший по его словам, с КГБ, оказавшись рядом со мной, шептал:

— Бога люди забыли, оттого страсти. Я в Шестидневной войне участвовал, орденом Боевого Красного Знамени был награжден, но уверовал и спасся. Не потерпел Марк... Уже крещение назначили, чуть-чуть не дотянул...

Лида встала, отдала мне часы Марика и сказала:

— Пусть будут у тебя. Ты был его лучший друг.

Теперь эти часы отмеряют мое время.

Павел Семенович Сиркес  
ГОРЕЧЬ ПОМЕРАНЦА  
Документальная повесть

Заведующая редакцией *С. А. Митрохина*  
Редактор *Ю. А. Трифонов*  
Художник *Ф. Е. Барбышев*  
Технический редактор *Т. А. Иванова*  
Корректор *Л. В. Лаврикова*  
ИБ № 4693

---

Сдано в набор 19.09.89                      Подписано к печати 15.11.89  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>    Бумага типографская    Гарнитура литературная  
Печать высокая    Усл. печ. л. 9,24    Усл. кр.-отт. 9,45    Уч.-изд. л. 9,52  
Тираж 100.000                      Заказ 895/339-89                      Цена 3 р. 50 к.

---

Советско-западногерманское издательское предприятие «Вся Москва».  
ГСП. Москва. Чистопрудный бульвар, д. 8.  
Отдел полиграфического производства ЦНИИТЭстроймаша  
111141, Москва, 2-й проезд Перова поля, 5

Советско-западногерманское  
издательское предприятие  
**«Вся Москва»**

**ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ**

**Справочно-информационная книга «ВСЯ МОСКВА»**

СП «Вся Москва», созданное на коммерческих началах издательством «Московский рабочий» (СССР) и издательством «Блау Хернер» (ФРГ), решило возродить утраченную культурную традицию и с 1990 года приступить к ежегодному выпуску справочно-информационной книги «Вся Москва» на русском и английском языках.

До 1917 года «Вся Москва» выпускалась известным в то время издателем А. С. Сувориным. В 1936 году одно из старейших советских издательств «Московский рабочий» осуществило последний выпуск этой книги. С тех пор минуло более полувека.

Советско-западногерманское  
издательское предприятие  
«**Вся Москва**»

**ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ**

**Леонид БОРОДИН. «ТРЕТЬЯ ПРАВДА».**

Проза Леонида Бородина, бывшего политзаключенного, с полным основанием может быть отнесена к русской классике. Автор мастерски владеет словом, чувствует его самобытность и глубину. Но до сих пор этот писатель не был знаком широкому кругу любителей отечественной словесности. Конечно, его знали те, кто читал самиздатскую литературу и слушал передачи радио «Свобода».

Ныне на дворе, выражаясь по-пастернаковски, иное тысячелетье, и мы можем читать даже такие книги, как

**«ТРЕТЬЯ ПРАВДА»**

**Леонида БОРОДИНА.**



Советско-западногерманское  
издательское предприятие  
**«Вся Москва»**

Вышла из печати книга повестей

**Юрия КУВАЛДИНА**  
**«УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА»**

Эта книга писалась более пятнадцати лет, но только благодаря воздуху гласности стал реальным факт ее появления на свет. В предисловии к книге выдающийся мастер слова Фазиль Искандер, чей роман «Сандро из Чегема» отмечен Государственной премией СССР за 1989 г., пишет, что в мире мыслей автор чувствует себя как дома и хочет, чтобы и читатель чувствовал себя так же. Одним словом, это настоящая интеллектуальная, а точнее сказать, интеллигентная проза.

**Павел  
СИРКЕС**

---

**Горечь  
померанца**

**Документальная  
повесть**



3 p. 50 k.